БОРИС САДОВСКОЙ

БОРИС САДОВСКОЙ

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

МАЛАЯ СЕРИЯ

Гуманитарное агентство «Академический проект»

БОРИС САДОВСКОЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ
РАССКАЗЫ В СТИХАХ
ПЬЕСЫ

Санкт-Петербург
2001

Составление,
подготовка текста,
вступительная статья
и примечания
С. В. ШУМИХИНА

Институт русской литературы благодарит
Администрацию Санкт-Петербурга,
Правительство РФ и Всемирный банк
за помощь в осуществлении настоящего издания

ISBN 5-7331-0217-9

Узоры Бориса Садовского

И, глядя в зеркало, Вы строите гримасы,
Какие, кажется, не снились никому!
В. В. Гордина-Розанова

Борис Александрович Садовской (1881—1952) умер на 72-м году. Семь десятилетий его жизни вместили такое множество событий, что их с избытком хватило бы на два более спокойных столетия. Акт за актом разыгрывалась перед ним драма нашей истории.

Садовской застал еще величие Российской империи Александра Третьего, видел в Москве революцию 1905 года, расцвет Серебряного века русской культуры и его вырождение, войну с Германией. Потом — Февральская революция, Октябрьский переворот, кровавая вакханалия последовавшей Гражданской войны. Больной и парализованный, Садовской перенес в Нижнем Новгороде страшный поволжский голод 1921—1922 годов; был очевидцем истребления священников и погрома храмов, геноцида крестьян. При нем зародился, утвердился и пал фашизм в Италии и гитлеровский нацизм в Германии, а на родине прошли чистки и кровавые процессы 1930-х годов. Он пережил за стенами Новодевичьего монастыря Великую Отечественную войну, при нем появилась атомная бомба, началась «холодная» война и «горячая» война в Корее... Пережив большинство сверстников по «Весам», «Альционе» и «Мусагету», Садовской умер ровно за год до смерти Сталина. На его глазах возникла и достигла наивысшего могущества советская империя, еще более колоссальная, чем самодержавная Россия, но столь же фатально обреченная в одночасье рухнуть под грузом собственных противоречий.

«Попробуй, спохватившись, обернуться назад, там уже все дочиста сгорело и дыму не видно, а спереди летит на тебя время-змей с разинутой черной пастью, одна только эта страшная пасть видна, и ни за что не разглядеть никому, какие там вдали змеиные кольца вьются, да и есть ли еще они?» — писал он когда-то в рассказе «Яблочный царек» (1915). Садовской остро ощущал спрессованность времени, в котором ему довелось жить. В начале 1930-х годов в его дневнике появляется запись:

«Я пережил исторический перелет небывалой, невообразимой широты и силы. Я езжал в чичиковской бричке, останавливался в тех же гостиницах, на тех же станциях, что и Гоголь, едал те же блюда, видел те же вывески, слышал те же речи. Конец 1-го тома "Мертвых душ" для меня живая, близкая современность. И я же застаю аэропланы. Первые автомобили, кинематографы, радио — все это появлялось одно за другим на моих глазах*».

Детство, о котором Садовской так любовно вспоминал в своих «Записках» (см.: Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 1991. Т. 1) и посвятил немало проникновенных стихотворений, прошло среди привольной природы Поволжья, в комфорте и достатке. Их обеспечил семье отец — инспектор Удельной конторы (смотритель казенных лесов и угодий, принадлежавших Департаменту уделов) Александр Яковлевич Садовский. Первенец в семье, Боря был любимым сыном, кумиром родителей, исполнявших каждое желание одаренного мальчика. Отец, выйдя в отставку, занял пост председателя Нижегородской губернской архивной комиссии. Любитель истории, он передал сыну любовь к родной старине и навыки архивиста-исследователя.

---

* Знамя. 1992. № 7. С. 177. Публ. И. Андреевой. (Далее все цитаты из дневника Садовского даются по этой публикации.)

Вместе с тем с возрастом наметилась так и не преодоленная никогда до конца отчужденность и обособленность Бориса Садовского от большой семьи. Отец, учившийся когда-то в Петровской академии в Москве вместе со Степняком-Кравчинским, был человеком 1870-х годов, который, как вспоминал Садовской, «просто принял на веру весь либеральный кодекс, понюхал кое-каких книжонок, наслушался умных разговоров и успокоился на всю жизнь». Сам же Борис еще мальчиком твердо стал на позиции монархизма, правых, даже ультраконсервативных убеждений. «Я одинок в семье, — писал он позднее в дневнике. — <...> Я никак ни в чем не похож на отца — и он, еще мальчика, меня называл “отщепенцем”».*

Садовской (тогда еще Садовский — это позднее он стилизовал родовую фамилию под старину) поступил в нижегородский Дворянский институт Александра II, а окончил курс в Нижегородской гимназии, вынужденный оставить институт не по своей воле. При всех способностях, систематические занятия ему не давались. Борис учился плохо, несказанно огорчая родителей своеволием и недетскими шалостями, вроде попоек с гимназическими товарищами, описанных им в «Записках». «Ты опять перестал учиться, получаешь двойки и т. п., — писал Садовскому после очередных неурядиц отец. — Чего ты желаешь? Ты знаешь, что без диплома тебе прожить нельзя, так как у нас нет такого состояния, которое потом бы обеспечило тебя. Пора бы об этом обо всем подумать, ведь тебе 16 лет, и без того ты кончишь курс в 19 лет, а если будешь оставаться в каждом классе, то 21-го <года>»**.

Спустя много лет на пачке писем родителей, бережно им сохраненных, Садовской написал: «Письма отца и мате-

* Знамя. 1992. № 7. С. 189.
** РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 178. Л. 2.

ри 1896–1916. Несколько писем 1902, 1903 и 1909 гг. сожжено: слишком ярко рисуют они меня как непочтительного и неблагодарного сына: таким я и был».

Как бы то ни было, с грехом пополам гимназия была окончена. В 1902 году Садовской поступил в Московский университет, который оставил в 1911-м, сохранив к нему благодарность за то, что университт «обеспечил <...> досуг для художественного труда и не дал стать ни вьючным животным, ни коптителем небес» («Записки»). Эти годы ознаменовались знакомством с Валерием Брюсовым, активным сотрудничеством в журнале «Весы», вхождением в литературный мир Москвы и Петербурга. Вскоре Садовской стал модным автором, которого охотно печатали многочисленные периодические издания. Он одинаково успешно выступал как поэт, беллетрист, литературный критик, историк литературы, драматург, пробовал свои силы даже в оперном либретто*.

Среди русских писателей Садовской остается одним из самых блестящих эпигонов. В данном случае этот термин не несет в себе уничижительного оттенка, как часто бывает. «Эпигон» обозначает в буквальном переводе «после-рожденный»: так называют человека, развивающего идеи своих предшественников, но мельче масштабом, менее самостоятельного, чем они. Примеров успеха небольшого писателя, стоящего в конце большой

* Опера композитора М. Багриновского «1812-й год», сюжет которой развивает темы незавершенной пушкинской повести «Рославлев», поставлена не была; впрочем, Садовской ограничился лишь несколькими сценами, а в основном либретто дописывал сам Багриновский. Успешнее было сотрудничество с «Летучей мышью» Н. Ф. Балиева, решившегося вначале на постановку адаптированного Садовским «Графа Нулина» в виде комической оперы, а затем и собственной «Пиковой дамы», когда композитор Ал. Архангельский смело вступил в рискованную конкуренцию с мелодиями Чайковского, а Садовской написал новое либретто — взамен текста Модеста Чайковского.

культурной традиции и использующего ее достижения, у нас немало, — хотя бы Борис Зайцев. Но Садовской значительно выделяется не только внешним блеском своих стилизаций, но и точно выверенным балансом между имитацией чужих приемов, заимствованных идей и собственным творчеством. Он счастливо избежал опасности, когда «стилизация не прячется в уголках губ, а прет из каждой строчки, как лошадиное дышло» (из рецензии Осипа Мандельштама на «Блистательный Санкт-Петербург» Ник. Агнивцева*).

Поэт и критик А. И. Тиняков, своего рода enfant terrible петербургско-ленинградского литературного мира, в письме к Садовскому от 7 августа 1915 года так попытался определить характер его творчества: «Вас надо "замалчивать", п<отому> ч<то> направление Ваше очень вредно в общественном отношении. На эту тему можно было бы написать интересную статью. Но, кажется, кроме меня никто пока не подозревает в Вас декадента-дьяволиста. <...> Вы органически очень близки к "Бодлэру", и потому Ваша сознательная нелюбовь к декадентству глубоко искренна (мучительно-искренна!) и очень интересна в психологическом отношении»**.

В стихах Садовского (как и в его прозе) постоянно мелькают на заднем плане некие инфернальные тени, веет легким, но отчетливым запахом тлена и могилы. Откуда эти тревожные, скорбные и мрачные нотки? Следует сказать, что у такого взгляда на мир были печальные внелитературные причины. Блестящее начало литературной карьеры Садовского омрачилось несчастьем, в значительной, если не исключительной, степени определившим всю его дальнейшую жизнь. В мае 1904 года он заразился сифилисом. Болезнь в то время, в принципе, уже излечивалась, и Садовской лечился ста-

* *Мандельштам* О. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т.2. С. 244.
** РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 212. Л. 45–45об.

рательно и даже чрезмерно. В стремлении перестраховаться он принимал меркуриальные средства в таких количествах, что от передозировки наступило общее отравление организма. Никакие кисловодские и серноводские ванны уже не могли вывести ядовитый препарат. Спустя десять лет начались местные параличи — то в руке, то в ноге. Ничем не помогли ни знаменитый профессор Плетнев (впоследствии один из фигурантов на процессе «антисоветского право-троцкистского блока»), ни китаец-иглоукалыватель Тинь-Лоу. В отчаянии бросался Садовской к разным шарлатанам, вроде американца Горашио Картера с чудодейственными пилюлями «Амрита» или нижегородского «народного лекаря» Петра Демина, писавшего малограмотные рецепты на открытках со своим портретом. Все было тщетно. Осенью 1916 года Садовского поразил tabes dorsalis (спинная сухотка), и он остался до конца своих дней парализованным, прикованным к постели, креслу, инвалидной коляске. В то же время, хотя жизнь и была в 35-летнем возрасте переломлена надвое, Садовскому посчастливилось избежать слепоты, глухоты, безумия (призраки умерших в мучениях Языкова, Гейне, Мопассана, Ницше, Гогена, Верлена стояли перед ним). До глубокой старости Садовской сохранил ясность ума и творческую работоспособность.

Физические мучения стали не только расплатой за конкретные грехи (мелкий демонизм, столь распространенный в богемной среде Серебряного века, не миновал и Садовского), но и перестроили его мировоззрение. Впрочем, говорить о перевороте в сознании писателя можно только условно. К Садовскому применимо латинское изречение, что в нем nihil est in quod fuit in (нет ничего, не бывшего прежде). Изменился масштаб: в письме К. И. Чуковскому Садовской писал в декабре 1940 года: «Былые мои интересы <...> перед нынешними то же,

что горошина перед солнцем: форма одна, но в содержании и размере есть разница»*.

Почти совпавшие во времени физический крах собственного тела и русская революция, которая была воспринята Садовским как вселенская катастрофа, возмездие за несколько веков русской истории, стали для него событиями апокалипсического масштаба. Для рыцаря монархической идеи, романтика консерватизма был потерян смысл жизни. В отчаянном письме Андрею Белому от 15 декабря 1918 года Садовской признавался, что дважды его вынимали из петли, и умолял антропософа Белого указать, в каких трудах доктора Рудольфа Штайнера ему искать спасения. «Прострите ко мне братскую руку помощи, не дайте погибнуть. Совет Ваш приму за указание свыше», — заканчивал он письмо**.

Однако обращение к антропософии не состоялось, и опору Садовской нашел все-таки в православии. У него хватило сил подняться. В мае 1921 года нижегородский знакомый Садовского Рафаил Карелин, сам бывший спирит и духовидец, познакомил его с епископом Варнавой (Беляевым), который исповедовал его и помог воцерковиться. Варнава записал в дневнике: «Позвали к одному больному, уже второй раз. Это известный наш поэт и писатель N (Садовской, который написал "Ледоход"). Прожил жизнь блудно и атеистом. Теперь расплачивается за прошедшую жизнь (впрочем, он молодой человек, лет 35—40), прикован к креслу и постели. Но хотя с виду <он> жалкий человек, душа его раскаялась во всех своих прегрешениях, а болезнь его теперь является, с одной стороны, очищением от прежних грехов, а с другой — пособием и побуждением к духовной жизни. Господь не оставляет его Своим утешени-

---

* Знамя. 1992. № 7. С. 192.

** *Шумихин С.* Писатель из Новодевичьего монастыря // *Садовской Б.* Лебединые клики. М., 1990. С. 456—457.

ем»*. Двоюродный брат поэта — литератор и издатель Георгий Петрович Блок, заочно познакомившийся и подружившийся с Садовским (эпистолярная дружба, увы, не выдержала испытания жизнью), — 22 октября 1921 года писал ему из Петрограда: «Счастье великое, что обрели Вы о. Варнаву. Все, что Вы говорите о себе по поводу этого, входит мне в душу, как ящик в шведский шкаф, нигде ни щелочки не остается и не заедает»**.

В конце 1920-х годов из дома родителей в Нижнем Новгороде Садовскому удалось перебраться в Москву, где он поселился в Новодевичьем монастыре, в церковном полуподвале. Его вторая жена Надежда Ивановна (с первой Садовской расстался еще в начале 1910 года; следы ее и единственного сына Садовского Александра после Гражданской войны затерялись где-то на юге) самоотверженно ухаживала за мужем, переписывала набело карандашные каракули его новых рассказов и стихов, ходила по редакциям, предлагая их — почти всегда безуспешно.

Жизнь на кладбище дала новую пищу для размышлений и не могла не восприниматься как некое знамение. Но скверная аллегория весьма прозаически объяснялась квартирным кризисом. Упраздненный монастырь был густо заселен литераторами и художниками, сотрудниками Исторического музея, а также рабочими Гознака. Во флигеле царицы Софьи помещались детские ясли. В отдельной башне жил консультант музея граф П. С. Шереметев, бедствующий наследник семьи крупнейших землевладельцев России, библиофил и археограф, в маленьком домике бывших монастырских служб — известный архитектор и реставратор П. Д. Барановский,

---

* См.: *Проценко П. Г.* Биография епископа Варнавы (Беляева)// В небесный Иерусалим. История одного побега. Н. Новгород, 1999. С. 274.

** РГАЛИ. Ф. 464.

вскоре арестованный и отправившийся в ссылку. Получила комнатку в монастыре бывшая «звездочка» московской богемы, малоизвестная художница, поэтесса и мемуаристка Нина Серпинская, когда-то общавшаяся с Садовским в «Обществе свободной эстетики».

Летом житье было почти идиллическое: везде цветы, чистота, порядок, который несколько нарушали пьяные хулиганы из двух пивных заведений, открытых в 1928 году прямо у монастырских стен (см. стихотворение «Никита Петрович Гиляров-Платонов...»). Зимой — сугробы, тишина и ощущение затерянного мира вблизи от центра Москвы.

Наедине с собой Садовской пересматривал свою жизнь, историю России, размышлял о вечности, времени, Боге, жизни и смерти. Прежде всего произошел расчет с тем пятнадцатилетием русской культуры, которое сейчас принято называть Серебряным веком, — то есть историческим отрезком примерно от начала XX столетия до Первой мировой войны. В свое время Садовской был близок к его эпицентру: в литературу был введен «самим» Брюсовым. Вместе с тем, печатаясь в «Весах», «Золотом руне», «Аполлоне», «Трудах и днях» и других символистских изданиях, Садовской оставался внутренне чужд идеалам символизма и модернизма. Он решительно предпочитал Золотой век русской поэзии, ознаменованный именами Державина, Пушкина, Тютчева, Фета. Свои непростые отношения с символизмом он так формулировал в предисловии к своему первому стихотворному сборнику «Позднее утро» (1909): «Причисляя себя к поэтам пушкинской школы, я в то же время не могу отрицать известного влияния, оказанного на меня новейшей русской поэзией, поскольку она является продолжением и завершением того, что нам дал Пушкин. С этой стороны, минуя искусственные разновидности так называемого "декадентства", которому Муза моя по природе всегда

оставалась чуждой, я примыкаю ближе всего к неопушкинскому течению, во главе которого должен быть поставлен Брюсов. Основные черты моего творчества были бы намечены не с должной ясностью, если бы я забыл упомянуть имя Фета»*.

Нравственная основа Серебряного века, представляющегося для большинства наших современников аккумуляцией вершинных достижений отечественной культуры, воспринималась Садовским теперь как глубоко антихристианская, даже демоническая. Религиозные и духовные искания, с его точки зрения, были нечем иным, как ересью. «Прогресс обольщает исканием, сулит новизну. И личность, покидая себя, рассыпается тучей праха. Ей в голову не приходит, что все уже найдено, что Царство Божие в сердце», — написал он в эссе «Святая реакция» в 1921 году**. А процветавший в предреволюционные годы романтический культ творческой личности, мессианского призвания художника, в представлении Садовского трансформировался во вседозволенность, имморализм, выраженный в художественной форме, а зачастую и воплощаемый в жизнь — от романтизированной сексуальной перверсии до перверсии религиозной — спиритизма, сатанизма и т. д. Это жизнетворчество восходило к Байрону, Бодлеру, французским «poètes maudits» («прóклятым поэтам»), философии Ницше. В лице русских модернистов — от карикатурного Емельянова-Коханского до Брюсова, футуристов, имажинистов, позднее обэриутов и т. д. — оно нашло благодарных учеников. Богоборчество стало модной темой. «Тринадцатым апостолом» (сиречь антихристом) провозглашал себя Маяковский; «Будь проклят Бог!» — восклицал Бальмонт; славил «отца Дьявола» Сологуб; невыносимо кощунствовали Мариенгоф и Шершеневич...

---

* *Садовской Б.* Позднее утро. М., 1909. С. 2.

** *Садовской Б.* Лебединые клики. М., 1990. С. 432.

«Этот новый век, — пишет о Серебряном веке Б. М. Гаспаров, — воспринимался современниками не как еще один шаг в поступательном движении истории, но как радикальная переоценка и трансформация потенциала, накопленного в ходе относительно ровного прогресса культуры. <...> Модернистская культура отнюдь не рассматривала себя как одну из последних исторических эпох, но, скорее, как эсхатологический или мессианский феномен, способный привнести новый (и, возможно, окончательный) смысл в течение всей истории и предшествующее историческое развитие»*.

Но этот феномен в представлении Садовского все больше напоминал «черную мессу». Возможно, в этом была доля истины (хотя, разумеется, мы не станем солидаризироваться с утверждением Горького о «самом позорном десятилетии русской интеллигенции»). Но все же литературовед Юрий Никольский писал Садовскому в июле 1919 года: «И все-таки благо, что Вы освободились от "слюны бешеной собаки"», — подразумевая разрыв с духовными ценностями той литературной эпохи, одним из символов которой стал петербургский литературно-артистический подвальчик «Бродячая собака».

В январе 1934 года Садовской записал в дневнике: «На днях умер А. Белый. Так и косит наших... Тело сожгли. "Пепел" и "Урна"... Ужасен конец всех символистов нашего поколения. Даже Ликиардопуло** сошел с ума. Да, медитации до добра не доводят. Белый умер от склероза мозга. Хоронили его по-собачьи, с музыкой и гвалтом»***.

---

* Цит. по: Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 208.

** Ликиардопуло Михаил Федорович (1883—1925), переводчик, критик, секретарь редакции «Весов». Умер в эмиграции в Англии.

*** Знамя. 1992. № 7. С. 191.

Но переосмыслением эпохи символизма Садовской не ограничился. Ему необходимо было развенчать для себя и культурные мифы этой эпохи. Центральное место в этой мифологии занимал Пушкин. И былой пушкинианец Садовской в 1931 году записывает в дневнике: «Пушкина необходимо преодолеть. Теперь это очень легко». А немного позднее он делает такую запись: «Прежде я любил Розанова почти до обожания. Соловьева же не очень. Теперь наоборот. Соловьеву я многим обязан, особенно последнее время. Его могила видна из моих окон. Он действенно помогает мне. Rexpice finem <Оглядывайся на конец. — *лат.*>. Сравни конец Розанова с концом Соловьева, и многое уяснится. Розанов строил свое ветхозаветное счастье на семье — семья его шумно распалась еще при жизни отца. Все его учение — импровизационная чепуха, последователи его — Зубакины* и т. п. наглые идиотихи. У Соловьева — стройная христианская система в соответствии с жизнью. Никогда Соловьев, доживи он до 1917 г., не унизился бы так, как Розанов. Да что Розанов — на пробном камне православия даже Пушкин оказывается так себе. Поэт — и только. Блестящий стиль у таких писателей, как Пушкин или Розанов, чешуя на змеиной коже. Привлекает, отвлекает, завлекает. А как в настоящий возраст войдешь, вся пустота их сразу и откроется»**. Это преодоление «светской» культуры последних двух веков русской истории давалось Садовскому не просто. Судя по дневнику, мировоззренческий кризис переживался Садовским с 1929-го по 1933 год и закончился полным отрицанием «внешнего мира», в котором ему все явственней слышалась поступь князя мира сего.

---

* Зубакин Борис Михайлович (1894—1938) — поэт-импровизатор, философ-мистик.
** Знамя. 1992. № 7. С. 178, 185.

«Я перехожу окончательно и бесповоротно на церковную почву и ухожу от жизни. Я монах... Православный монах эпохи "перед Антихристом"».

Замечательно, что принятая Садовским «схима» (можно ли назвать ее обскурантизмом?) отнюдь не привела к творческому кризису, не разрушила писательскую способность, подобно тому как это произошло с Гоголем. Напротив, произведения 1920—1940-х годов — вершина творчества Садовского. До конца жизни он продолжал работать, распределял свои сочинения для какого-то мифического шеститомника (никаких иллюзий относительно того, что его будут издавать, Садовской не испытывал, занятие это было чисто библиофильской прихотью). Разобранный и приведенный в относительный порядок архив был, при посредничестве М. А. Цявловского, продан Государственному литературному музею. В нем множество ценнейших для истории литературы начала XX века материалов, и исследователь должен быть благодарен мудрому «архивному инстинкту» Садовского. Садовской пытался стать «духовным Колумбом», компенсируя физическую неподвижность путешествиями в сфере духа. В результате этой титанической работы он мог в декабре 1940 года написать К. И. Чуковскому, который неожиданно вспомнил о нем и поздравил с 40-летием литературной работы: «Мы не видались 25 лет. Это такой же примерно срок, как от Рюрика до 1914 года. Я все это время провел "наедине с собой", не покидая кресла, и приобрел зато такие внутренние сокровища, о каких и мечтать не смел»*.

Недавно опубликованные документы из тайных архивов КГБ об операции «Монастырь», разработанной одним из руководителей разведки и организатором убийства Троцкого П. А. Судоплатовым по заданию Берии,

* Там же. С. 192.

добавляют к облику Садовского новые штрихи. Суть дела заколючалась в том, что для создания надежной легенды перебрасываемому через линию фронта агенту А. П. Демьянову (агентурная кличка «Гейне») НКВД образовал фиктивную организацию «Престол», по типу ловушки для Савинкова — печально знаменитого «Треста» 1920-х годов. По разработанной для Демьянова версии, он являлся представителем этой монархической подпольной организации, центр которой якобы находился в Новодевичьем монастыре. Одни из завербованных «подпольщиков» и в самом деле ждали прихода немцев в Москву, другие вместе с Демьяновым с самого начала знали, что будут участвовать в операции. Садовской, который в публикациях на эту тему почему-то именуется «бывшим нижегородским предводителем дворянства» либо «представителем знатного дворянского рода, с установлением советской власти потерявшим свое состояние»), был среди «подпольщиков» одной из ключевых фигур*. Изощренный мистификатор стал жертвой мистификации куда более ловких и опытных выдумщиков с Лубянки. Понял ли писатель, что им манипулируют? Как, в его возрасте и при его физическом состоянии, собирался Садовской действовать в результате ожидаемого занятия немцами Москвы? Лежат ведь в тайных архивах донесения провокаторов, его вербовавших, и выплывут же когда-нибудь на белый свет, если архивы прежде заботливо не сожгут...

Мы упомянули о мистификациях Садовского. Это отдельная тема. Варвара Гордина-Розанова писала ему: «Для меня страшнее всего Ваша злая насмешка, которую я чувствую во всем Вашем творчестве...»** Частично

---

* См., напр.: Операция, которая длилась всю войну // Лубянка 2: Из истории отечественной контрразведки. М., 1999. С. 244—250

** РГАЛИ. Ф. 464.

эта злая насмешка реализовалась в литературных мистификациях, на которые Садовской употребил свой незаурядный стилизаторский талант. Эти мистификации были связаны со стихотворениями и письмами Некрасова, Степняка-Кравчинского, Есенина, Блока, даже с поддельными воспоминаниями некоего Попова об отце Ленина И. Н. Ульянове. (Попов действительно существовал и учился когда-то в гимназии у Ильи Николаевича, но его «мемуар» написан Садовским.) Мистифицировал Садовской и собственную биографию, дав заведомо ложные сведения в справочник Е. Ф. Никитиной «Русская литература от символизма до наших дней» (М., 1926), в чем признавался в своем дневнике. Некоторые из подделок были сфабрикованы столь искусно, что на десятилетия вошли в научный оборот в качестве подлинных произведений названных авторов, ввели в заблуждение таких специалистов, как пушкинист М. А. Цявловский (товарищ детства и юности Садовского еще со времени нижегородского Дворянского института), издатель «Былого» П. Е. Щеголев (кстати, также замешанный в крупной мистификации — публикации поддельных дневников фрейлины последней императрицы А. А. Вырубовой). Подделки Садовского были разоблачены, в том числе и при участии автора этих строк, лишь в конце 1980-х годов. Подобное, достаточно двусмысленное с точки зрения научной этики, занятие можно рассматривать как своеобразную месть редакциям и всему литературному миру, для которых Садовской перестал существовать (многие искренно были убеждены, что писатель давно умер). С другой стороны — как знать? — не было ли это попыткой утопающего в водах Леты схватиться за соломинку, чтобы хоть таким сомнительным способом напомнить будущим поколениям о себе?

Пока же вспомнила о Садовском приехавшая из Парижа Марина Цветаева, оставившая у него в монастыре

перед отправкой в эвакуацию свой архив и часть книг. По просьбе сына Цветаевой Мура (Г. С. Эфрона), нуждавшегося в эвакуации в Ташкенте в деньгах, библиотека была распродана, но архив сохранился. Садовской хранил его в сундуке, поверх которого была устроена его постель.

* * *

Борису Садовскому было суждено пережить не только большинство сверстников по Серебряному веку, но и умершую в войну жену (заботы о нем взяла на себя его свояченица). Умер он 5 марта 1952 года, похоронен по православному обряду спустя три дня. Эта дата — 7 марта 1952 года — ошибочно значится, как дата смерти Садовского, в картотеке Союза писателей. Откуда взялась еще одна дата смерти писателя — 3 апреля, — впервые возникшая в статье о нем в Краткой литературной энциклопедии и до сих пор кочующая из работы в работу, нам неизвестно. Нельзя отделаться от ощущения, что некоторые мистификации Садовского протянулись даже за грань его земного бытия. Преждевременно хоронили его по меньшей мере дважды: в 1925-м и 1946 годах. В первом случае старый товарищ Садовского В. Ф. Ходасевич даже поместил в парижских «Последних новостях» некрологическую статью-воспоминание.

На полустершейся могильной плите на Новодевичьем кладбище, где похоронены Надежда Ивановна и Борис Александрович, уже трудно что-нибудь разобрать. Но слова «незаслуженно забытый писатель» никогда не будут больше стоять рядом с именем Бориса Садовского. Говорят, что видели положенные на могилу цветы, — первые за полстолетия.

Сергей Шумихин



СТИХОТВОРЕНИЯ

1. ИОАНН ГРОЗНЫЙ

(*Баллада*)

Окончен пир. За слободою
Погасла майская заря,
И всё объято тишиною
В палатах Грозного царя.
Спокойно дремлет сад тенистый,
Широкий пруд заснул давно,
И только месяц серебристый
В резное смотрится окно,
Да соловей, не умолкая,
В саду рокочет и поет,
А звезды сыплются, мигая,
И месяц медленно плывет.

Лишь царь не спит. Тяжелой думой
Владыки сердце стеснено,
Лампады отблеском угрюмым
Его лицо озарено.
Орлиный нос, густые брови,
Тревожно сжатые уста...
Иль жаждет казней он и крови?
Иль ждет прощения Христа?
Иль снова думы об измене,
О доле тягостной своей?..
Сильней в саду ложатся тени,
И громче свищет соловей.

Царь встал. Он тихо в сад выходит,
Звеня узорчатым жезлом,
По каменным ступеням сходит,
Между дерев в раздумьи бродит

И долго думает... О чем?
Чтоб быть ему владыкой царства,
Судьей народу своему,
Сразить надменное боярство
И Русью править одному.
«Добра народу я желаю,
Его врагов уничтожаю,
Но кто видал — терзая их,
Как сердцем я скорблю о них?
Я человек... прости, о Боже,
Меня, злодея и раба.
Я слаб и немощен... За что же
На трон взвела меня судьба?..»

Так грозный царь молился страстно,
Роняя слезы на песок,
А между тем каймою ясной
Уж озаряется восток.
Вот ветерок прошел, играя,
Чуть тронул сонные листы
И полетел, перебегая,
От пруда в сад, с кустов в кусты.
Листы черемухи цветущей
Царя порой, лаская, бьют;
Лепечет ключ в саду бегущий,
А соловьи поют, поют...
Певцы весны! Сильнее пойте,
Пока не занялась заря,
И нежной песней успокойте
Тревогу Грозного царя.

1901

2. ВАСИЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ РОЗАНОВУ

Ты речью нервною, и страстной, и живой
Миришь земную жизнь с гармонией небесной.
Весь чудный божий мир открыт перед тобой,
Сверкая синею и вечно-юной бездной...

Мне чудится в штрихах хрустального резца,
В запутанных словах несвязных разговоров
Пророка пылкий зов, раздумье мудреца
И жгучая тоска неразрешенных споров.

Ты бескорыстный страж родного рубежа,
Таинственной зари передрассветный гений...
— Как жадно рвешься ты, волнуясь и дрожа,
Нам поверять тоску грядущих поколений!

1903

3

Бежим! Едва в лазури пенной
Крылом встрепещут паруса,
В себе заслышим мы мгновенно
Иных восторгов голоса.

Под ропот волн, победно-дружный,
Исчезнет сумрачный обман
И в пряном блеске ночи южной
Предстанет нам великий Пан.

На мачтах, на корме, на трапах
Развесит он гирлянды роз,
И будет волн соленый запах
Лелеять прядь твоих волос.

Бежим, пока в душе есть грезы
И юность длится майским сном, —
Всё песни, песни, розы, розы
И даль безбрежная кругом!

1904

4. ВЕЧНЫЙ ЖИД

Всё бесконечностью томят меня кошмары.
Они однообразны. Всплески вод,
В свинцовых облаках громов удары,
Неотразимый небосвод.
Лазурной чашей небеса нависли,
Иду, закрыв глаза. Обманчивая тьма!
Под ней, клубясь, кипят всё те же, те же мысли,
Всё те же призраки отжившего ума.
Бессилен этот ум расширить круг видений,
В нем грезы древние роятся сотни лет.
В толпе проходит смена поколений,
А для меня и смены мыслей нет.

Когда-то были дни тревоги, дни исканий.
Как молодо кипел и бился их родник!
Я жадно собирал в уме обрывки знаний,
Я передумал миллионы книг.

Но выветренный мозг иссохнул незаметно
И, утомясь, навек воспринял пустоту.
Наскучили мне сны души бесцветной,
До дна исчерпавшей мечту.
Всё улеглось давно и всё перекипело.
Смирясь, иду вперед. Знакомые пути
Завидели мое изношенное тело...
О, сколько мне еще, еще идти!
Проклятый круг земли! Мне всё в тебе знакомо:
И тайны полюсов, и гул народных масс;
В любом углу земли я буду вечно дома,
В любом углу земли я был десятки раз.

Одно лишь место есть, одно... Туда не смею
Я близко подойти, туда боюсь взглянуть.
Едва приблизившись, немею:
Оттуда, с той горы, я начал путь.
Там из кровавых уст раздался скорбный голос.
В те дни я был велик, а Он так слаб.
С смиреньем Божества мощь Разума боролась.
Но взял Он смерть мою, и вот — я раб.
За долгие века несет мученья
Мой одинокий дух. Но гордому врагу
Не победить его. О, мщенья, мщенья!
Ведь я еще отмстить Тебе могу!
Отдай мне смерть, разбей на мне оковы, —
Тогда борись со мной!..
Угрозы и мольбы
Стихают. Небеса прекрасны и суровы.
Свобода — далеко. Кругом — рабы.

1904

5

Млечный путь дрожит и тает,
Звезды искрятся, дыша,
И в безбрежность улетает
Одинокая душа.

В ледяном эфире звонко
Трепетанье белых крыл:
Это светлый дух ребенка
К вечной тайне воспарил.

Очарован мир надзвездный,
Млечный путь струит лазурь,
Величаво дышут бездны
В тишине грядущих бурь.

1904

6

Давно ли жизнь, вставая бодро,
Любовь будила при свечах
И, как наполненные ведра,
Качалась плавно на плечах?

Теперь, когда померкли мысли,
Смешна любовная игра,
И спят на шатком коромысле
Два опустелые ведра.

1904

7. ШТОРА

Каминных отблесков узор
На ткани пестрой шторы,
Часов бесстрастный разговор,
Знакомых стен узоры.
Поет усталый самовар.
На полках дремлют книги.
За шторой — стынет зимний пар.
Часы считают миги.

Часы бегут, часы зовут,
Твердят о бесконечном.
Шум самовара, бег минут,
В душе — тоска по вечном.
За шторой — льдистых стекол мрак.
В туманной мгле мороза
Полозьев скрипы, лай собак,
Кряхтенье водовоза.

Откинуть штору или нет?
Взглянуть или не надо?
Там шорох мчащихся планет,
Там звезд лазурных стадо.
Нет, не хочу. Здесь у меня
Знакомые узоры
И те же отблески огня
На ткани пестрой шторы.

1904

8. СОКОЛ

Всего прекрасней — сокола полет.
Я полюбил следить за ним часами.
Когда, дрожа недвижными крылами,
Он на мгновенье в воздухе замрет.

Горд красотой и вечно одинок,
Взвиваясь над иссохшим водоемом,
Он мчится в горы, где ревет поток,
Где древний дуб поник, спаленный громом.

В изгибе крыл, в прямой стреле хвоста
Идея красоты, — она проста:
В гармонии аккорда нет согласней.

Я красоту люблю в стихе, в цветах,
В уборах женских, в летних облаках,
Но сокола полет — всего прекрасней.

1905

9

Что день, то яростней идет война.
Хрипят простреленные груди.
Далеким грохотам орудий
Не внемлет скорбная страна.
И с каждым днем свежей листы,
Трава душистей и медвяней
И на задумчивой поляне
Нежнее шепчутся цветы.

1905

10. НА БУЛЬВАРЕ

Покинув грязный тротуар,
Меж звонких конок легким бегом
Спешу на праздничный бульвар,
Блестящий первым, юным снегом.

Вчера, угрюм, как нетопырь,
Я здесь бродил, потупя взгляды.
Был скучен серый монастырь
И туч тоскливые громады.

И там, где, озаряя грязь,
Рой фонарей ей глянец придал,
Стоял, задумчиво склонясь,
Спиной ко мне чугунный идол.

Сегодня блеском жемчугов
В морозно-искристом закате
На льдистом небе облаков
Сияют пурпурные рати.

Крестами радостно горя,
В красе внезапной перемены
Передо мной монастыря
Белеют розовые стены.

А впереди, где яркий газ
Нескромных пар объятья выдал,
Стал, многодумно наклонясь,
Спиной ко мне чугунный идол.

1905

11–13. <КОВЕР-САМОЛЕТ>

1

Я лечу. Лазурной далью
Ясный круг земли окрашен.
Зазмеились реки сталью.
Забелели стены башен.

Мой ковер, колеблясь, вьется
Над седым сосновым бором.
Слышу, слышу крик орлиный.
Плещут гуси по озерам.
Над оврагами несется,
Где медведь трещит малиной,
Колыхаясь, мчится к горам.

Над лазурным полукругом
Полосы огнистой пламя.
Пахнет лесом, пахнет лугом.
Пахнет желтыми цветами.

Синь и золото в опушке.
С писком пляшут мошек рои.
Голубых цветов завои
Налились, дрожа слезами.
О весне твердят кукушки.
Над орешником тенями
Зашныряли козодои.

Вслед за серою совою
Промелькну болотом ржавым.
Полон нежною тоскою,
Припаду к вечерним травам.

2

Шумит узорный самолет
Над островерхой чащей елок.
Порой над речкой проплывет,
Встревожит быстрых перепелок.

Через поля, минуя лес,
Стремится облачной пустыней.
Драконом падая с небес,
Несется степью бело-синей.

В степи насупился курган.
Орел орлицу призывает.
Где был раскинут ратный стан,
Ковыль о призраках вздыхает.

Была пора: сюда на бой
Текли за половцами обры,
И долго здесь в траве сухой
Белели черепы и ребры.

Теперь всё тихо. Спит бурьян.
Забыта быль и небылица.
С протяжным криком на курган
Летит, шумя, седая птица.

3

Со свистом крыл, визгливой тучей
Стрижи над башнею взвились.
Она — венец скалы могучей,
Ушедшей в облачную высь.

Туда, где царственной добычей
Гордится сумрачный утес,
Где вечный свист и шелест птичий,
Мой самолет меня принес.

Один вишу над синей бездной,
Схватясь рукой за край окна.
Там, за решеткою железной,
Склонилась, бледная, она.

Спасти ее! Увы, — ширяя,
Мой самолет умчался прочь.
Один вишу, изнемогая,
И мне царевне не помочь.

Прости! Под визг стрижей прощальный,
Срываясь в бездну с высоты,
Я вижу образ твой печальный,
Я слышу, как рыдаешь ты.

1906

14

Бушует пир, дымятся чаши,
Безумной пляске вторит хор,
Но всё нежнее взоры наши
И всё спокойней разговор.

С больной души упали сети.
В тумане — ранняя пора,
Опять невинны мы, как дети,
Моя любовница-сестра.

Пусть все они, надменно-грубы,
Небрежно тешатся тобой:
Я поцелую эти губы
С наивной детскою мольбой.

1906

15

В жаркий полдень обвалилась
Насыпь берега крутая.
Под кустами дикой розы
Кости мертвые открыты.
Серых ребер сеть сухая,
Дыры глаз землей забиты.
Подле верба наклонилась,
Дремлют тощие ракиты,
Вьются синие стрекозы.

Тихий берег равнодушен.
Вот на череп пожелтелый
Села бабочка и дышит.
Льются жаворонки звонко.
Воздух зноен, воздух душен.
Небеса яснеют тонко,
Небеса земли не слышат.

1906

16

Пробило три. Не спится мне.
Вставать с постели нет охоты.
Луна на трепетной стене
Рисует окон переплеты.

Обоев дымчатый узор
Дает таинственные знаки.
В немую тишь кидаю взор,
Ищу ответа в сонном мраке.

Жизнь обесценена, как миг.
Вчера прошло, а завтра будет.
О, если б разум мой постиг
Тот страшный смысл, что сердце будит!

Но тщетно ждать. В раздумья час,
Я знаю, сердце не ответит.
Одной луны холодный глаз
Мою мечту поймет и встретит.

Бледнеет мрак. Луна зовет.
Пусть до утра тоска продлится!
Я всё предвижу наперед,
И сердце бездны не боится.

1906

17. Ю. А. СИДОРОВУ

Твой дух парит над вечным Нилом.
Ты друг Египта с давних пор.
Каким непобедимым пылом
Исполнен твой далекий взор!

Жрец желтоликий, темноокий,
С обритой мудро головой,
Ты светоч радости высокой,
Не зная сам, зажег собой.

Обломок древний обелиска,
Хранящий сфинксовы черты,
С моей душой так близко, близко
Свободным духом слился ты.

Не нам от века ждать награды:
Мы дышим сном былых веков —
Сияньем Рима и Эллады,
Блаженством пушкинских стихов.

Придет пора — падут святыни,
Богов низвергнут дикари,
Но нашим внукам мы в пустыне
Поставим те же алтари.

1907

18

К тебе, фонарному лучу,
К тебе стремлюсь, тебя хочу!

В сырой осенней полумгле
Ты не забыл светить земле.

Ушла надменная луна,
Лазурь бездушная темна.

Угасли хоры гордых звезд,
Не вижу я любимых мест.

И только ты, фонарный луч,
В могильной тьме, как царь, могуч.

Душе унылой шлет привет
Твой тусклый, добродушный свет.

1907

19

Знакомый ресторанный гул.
Журчанье флейт и скрипок говор.
Лакей, сгибаясь, ставит стул,
Промчался в кухню белый повар.

Гляжу, как прыгают смычки
В руках малиновых испанцев,
Как в люстрах яркие крючки
Дрожат под хохот модных танцев.

Растрепан, галстук на боку,
Смеешься ты, мой друг влюбленный.
Вот золотого коньяку
Сжег горло мне металл топленый.

Под вальс припомнились на миг
Реки далекие извивы.
Вечерний лес, орлиный крик,
К ручью склонившиеся ивы.

Зачем ко мне вернулись вспять
И манят плакать детства зори?
Зачем в слезах гляжусь опять
В его лазоревое море?

Ах, если б вновь!.. Очнулся я,
Рукой дрожащей мну фуражку.
Уж кофе медная струя
Бежит в фарфоровую чашку.

Пора! Еще на миг ожив,
Стою, томясь тоской бесплодной,
И скоро, смутно-молчалив,
Лечу в санях, как труп холодный.

1907

20

Не мог я жизнью овладеть
И счастье сжег в разгуле диком.
Вот почему, не в силах петь,
Зову любовь звериным криком.

Зову — и недвижим сижу,
Вертепа хмурый завсегдатай.
Глазами мутными гляжу
На мир мой, вещий и заклятый.

Всё те же винные пары...
И полусознанным обманом
Они до утренней поры
Дают зажить болящим ранам.

Уйду ль, вернусь ли — всё равно.
На синем небе блещет Веста,
Но сердцу ты чужда давно,
Моя любовь, моя невеста.

1907

21

Холодный, мутный чад в усталой голове.
Сомненья горькие в рассудке ослабелом.
Во мне жила душа, — теперь их две,
И обе властвуют над побежденным телом.

Когда белеет день над городом глухим,
По снежным улицам брожу я одиноко,
И мрачный, бледный дух, чуть видимый, как дым,
Вперяет в сердце мне недремлющее око.

И, очарованный, без воли и без сил,
С сознаньем сдавленным, противоречий полон,
Я медленно иду, — и где бы ни бродил,
Всё взор его на мне, — и как тяжел он!

А ночью в грозной тьме растет немой призыв
Другого демона, — и в сердце бьет тревога:
Мне страшен новых дней неведомый прилив,
Гнет неизбежности и призрак Бога.

Так дни жестокие, без цели, как во сне,
И ночи черные в страданьи одиноком
Я тщетно провожу, — и угрожают мне
Два духа — две души — неумолимым оком.

1908

22. СВЕЧА

Я дунул на свечу. Один, в немой постели,
Внимая тишине задумчивой, молчу.
А мысли в черный мрак как птицы полетели:
Который уж я раз гашу свою свечу?

Вчера гасил ее, а меж вчера и ныне
Что было? — Ничего. Осталось что? — Ничто.

О, где вы, вихри слов, и образов, и линий,
И кто уловит вас, и возвратит вас кто?

И чем наполнит жизнь свой жуткий промежуток
От этой нынешней до завтрашней свечи,
Что ждет меня и мир в пролете беглых суток,
В бездонной вечности? О, сердце, замолчи!

А думой огненной к одной заветной цели,
К одной родной мечте безумствуя лечу:
Когда ж, в последний раз простершись на постели,
Мне суждено задуть последнюю свечу?

1908

23. ПАМЯТНИК ЛЕРМОНТОВУ В ПЯТИГОРСКЕ

Ряды акаций сад обстали.
В них золотой дробится свет.
Один на белом пьедестале
Ты замер, бронзовый поэт.

Под солнцем знойным, солнцем жгучим
Ты с дальних гор не сводишь глаз,
А там возносит к белым тучам
Громады снежные Кавказ.

Но, взором сумрачно-тяжелым
Пронзая вечно ночь и день,
Ты всё летишь к родимым долам,
К огням печальных деревень.

О, как была тебе знакома
Отрада тихих сельских грез, —
Изба, покрытая соломой,
Чета белеющих берез!

Но Демон, царь тоски безбрежной,
В свой дикий край умчал тебя,
И ты, доверчивый и нежный,
Молясь, грозил и клял, любя.

Томясь по ангельской лазури,
В подземный мрак стремился ты,
И здесь, под рев и грохот бури,
Осуществил свои мечты.

Но дух твой — примирен ли с тем он,
Что колыбель ему — Кавказ?
Не мчится ль он, как черный Демон,
К родным полям в закатный час?

1908

24

Смерть надо мной прошелестела
Гигантским траурным крылом.
Теперь одно осталось тело
Считать бесцельно день за днем.

Увы! безжалостной угрозой
Мой дух навеки поражен.
Вот отчего грущу над розой,
Зачем бегу пиров и жен.

Но знаю: миг придет заветный,
Вновь смерть подкрадется ко мне
И с той же лаской незаметной
Ужалит сердце в тишине.

И буду я, в восторге диком
Блуждая днем и по ночам,
Склоняться к небывалым ликам,
Внимать неслыханным речам.

Я истощу всю страсть, все силы,
Чтоб жизнь была — сплошной пожар,
Чтобы покой в тиши могилы
Мне был как вожделенный дар.

Но утешением крылатым
Ты сбережешь прощальный срок,
Пьянящий горьким ароматом
Миндально-белый порошок!

1908

25

На белом небе отблеск розоватый.
Светлеют крыши, дождиком обмыты.
Над ними облака бегут, измяты,
Разорваны, как хлопья серой ваты.
По мостовой звучней стучат копыты.
Люблю я вас, весенние закаты!

Люблю утихший ход толпы вечерней,
Когда улыбки и слова крылаты,
Когда шаги спокойней и размерней,
А колокольный гул зовет к вечерне.
Люблю я вас, весенние закаты
С румяным отблеском на ясной черни!

1909

26. ЮБИЛЕЙ ГОГОЛЯ

Полвека ты лежал в незыблемом покое,
Друзьями погребен, и только строгий крест
Безмолвствовал с тобой на камне-аналое
Среди торжественных, среди пустынных мест.

Но люди чуждые нечистыми руками
Надменный памятник воздвигли над тобой
И хлынули к тебе с речами и венками
  Самодовольною гурьбой.

Твой позабыв завет, смиренный и суровый,
Страшилища твои здесь подняли свой рев.
Склонялся Чичиков, кипели Хлестаковы,
  И вольнодумствовал Ноздрев.

Как радостен их пляс над тихими костями,
На весь родной простор как страшен их привет!
Ты был, живой в гробу, увенчан мертвецами,
Пришедшими к тебе сказать, что смерти нет.

1909

27. ТАЙНЫЕ ЗНАКИ

Как звезды в небе хоры тайных знаков
Плывут в душе, и, вечно одинаков,
Один и тот же неизменный бред
Всё шепчется и снится с детских лет.

Чужих речей родные отголоски!
В пучине дней спасительные доски,
Несете вы к заветным берегам
Изгнанника, отдавшегося вам.

В часы забав рыдаете, как совы,
Неодолимы, сумрачны, суровы.
В часы, когда от горя нем язык,
Как радостен доверчивый ваш клик!

Откуда вы? Немые ли приветы
Летящей к нам неведомой кометы,
Глухие ль стоны бездны мировой,
Зияющей, грозящей и живой?

Как сердцу дорог ваш бессонный ропот,
Ваш бездыханный и упорный шепот!
Всё изменило: счастье, жизнь, любовь,
И только вы всё те же вновь и вновь.

1909

28. ДУБ

Наряд осенней рощи светел,
Вороний крик зловеще-груб.
Я рад: опять тебя я встретил,
Задумчиво склоненный дуб.

Ползет и низится долина,
Зияет и грозит овраг,
И дерзко к трону властелина
Предательский заносит шаг.

Владыка, удрученный днями!
Ты помнишь ли былой простор,
Когда над вещими холмами
Впервые ветви ты простер?

Гнезда орлиного хранитель!
Всё чаще, мчась из-за реки,
Твою спокойную обитель
Тревожат хищные гудки.

Всё ближе фабрик жадный рокот.
В нем тишь лесная умерла,
Он заглушает дряхлый клекот
Отяжелевшего орла.

1909

29

Грустно мне, грустно мне
Полночью глубокой
На чужой стороне,
На постели одинокой.

Снова думы пришли.
Тяжело на свете.
Слышу: поднялся вдали
Буйный, дикий ветер.

То над улицей вздохнет,
То в трубе продышит,
Гневно вывеску тряхнет,
Пробежит по крыше.

Бледный, бледный встал в окне
С песней похоронной.
Легче мне, легче мне
Под его глухие стоны.

Воет ветер, как пес.
В сердце тихо, тихо.
То ль тоску мою унес
Буйный, дикий вихорь?

Это он, это он,
Песней стародавней
Нагоняя краткий сон,
Постучался нежно в ставни.

1910

30

Опять замелькали сосна да береза,
Столбы, придорожные будки, откосы,
Опять расцветает весенняя греза:
Лучистые взоры, душистые косы.

А думы летят по дорогам изрытым
К осенним курганам, к вечерним могилам,
К цветам, на кладбище былого забытым,
Давно облетевшим, увядшим, но милым.

1910

31

Страшней всего последний каждый миг:
Он жизнь ударом делит на две бездны.
Возник, упал, упал, и вновь возник,
И вновь вознес над миром меч железный.

Вот и теперь повис он надо мной,
Грядущее овеяв темным страхом.
Оно таится грозной тишиной.
Он тишину окликнул новым взмахом.

Опять возник, ударил и бежит
И новые сечет и вяжет узы.
Упал в траву, лишь след его дрожит
На вечном зеркале у вечной Музы.

1910

32

Торопится ветер и шепчет с листами,
Цветы всполыхнув, пронесется кустами,
Вздохнув, отдохнет и помчится опять
Знакомые сказки шептать и шептать.

Усталый, не внемлю я сказкам тревожным,
Вздохам не верю, мгновенным и ложным.
Ветер утихнул, вечер томит,
Солнце садится, сердце щемит.

1910

33

В глухом бору на перекрестке
Плывет, дымясь, вечерний мрак.
Объятья сосен злы и жестки.
Пасть черную раскрыл овраг.

Кого окликнуть? Кто поможет
Дорогу верную найти?
Мрак наплывает и тревожит,
Нависли ветви на пути.

Вдруг за вершинами направо
Вполглаза глянула луна:
С какою нежностью лукавой
Смеется и грозит она!

Из очарованного круга
Тропою верной повела.
С тобой, небесная подруга,
Не тяжела земная мгла.

1910

34. ЭКСПРОМТ

Он в пудреном волнистом парике.
Рука играет лепестками розы.
В предчувствии последней светлой грезы
Губами он приник к ее руке.

Она стоит в воздушно-белом платье.
Какая скорбь во взоре голубом!
Из рук скользит серебряный альбом,
И вот сомкнулись легкие объятья.

Миг отзвучал, но им чего-то жаль.
У милых уст печально блекнет роза.
Вдали гудит народная угроза,
И смертный час предчувствует Версаль.

1910

35. ПРАДЕД

Когда сквозь пену дней, бегущих неумолчно,
Я память увожу к минувшим берегам,
В тумане чей-то взор, презрительный и желчный,
Склоняется ко мне из потемнелых рам.

Дед моего отца и прадед мой! Возрос ты
Средь черноземных нив и заливных лугов
В симбирской вотчине, где безмятежно-просты
Катились дни твои у волжских берегов.

Ты летом на покос езжал на дрогах длинных,
И зорко умолкал девичий хор и смех,
Когда ты намечал среди красавиц чинных
Ту, что красивее и величавей всех.

Под осень ястребом травил ты перепелок
И слушал красный гон, за русаком летя,
Зимой, жалея свеч, шел в сумерки под полог,
Чтоб до зари уснуть спокойно, как дитя.

Полвека ты лежишь на родовом погосте,
Где за оградами рассыпались кресты,
Где клены древние вплелись корнями в кости,
Где плачут иволги и шепчутся листы.

Самолюбив и добр, расчетлив и распутен,
Умом ты презирал, а сердцем знал любовь.
Дед моего отца и прадед мой Лихутин,
Я слышу, как во мне твоя клокочет кровь.

1910

36. ПРАБАБКА

Из конопляников обильных и душистых
Ты робко глянула и спряталась тотчас,
Едва в гурьбе псарей и гончих голосистых
Глазам твоим сверкнул огонь надменных глаз.

Вослед охотникам клубила пыль дорога.
Закрывшись рукавом, ты слушала вдали
И гулкий лай собак, и смех, и пенье рога,
А конопляники дышали и цвели.

Прошло немного лет. Из девочки дворовой,
Бродившей по грибы опушкою лесной,
Ты стала барыней дородной и суровой,
Как написал тебя художник крепостной.

Люблю твои черты на блекнущем портрете,
Их целомудрие — удел немногих душ,
С заботой об одном: чтоб живы были дети,
Чтобы не захворал любимый нежно муж.

К нему же на погост однажды в полдень летний
Шесть сыновей снесли твой деревянный гроб,
И хоронил тебя, чуть двигаясь, столетний,
Давно когда-то вас перевенчавший поп.

1910

37

Люблю следить твой шарф волнистый,
Прозрачно-веющий, душистый,
Под нежно-сбивчивую речь
Порхающий с покатых плеч.

Люблю твой взор нетерпеливый,
То вдохновенный, то стыдливый.
Картавя милые слова,
Как нежный мальчик, ты резва.

Люблю руки твоей пожатье,
Твои духи, перчатки, платье,
Шуршанье строгое его
И даже мужа твоего.

1910

38. СЛЕПЦЫ

Их было пятеро. На скрипках пели двое,
К ним флейта жалобно звала под барабан,
Последний, сумрачно пред контрабасом стоя,
Визгливую тоску закутывал в туман.

В невидящих глазах за синими очками,
В углах недвижных губ как будто смех стоял.
Как струны горестно томились под смычками,
Как глухо барабан над флейтою рыдал!

Я глянул в зеркало: улыбка та же стыла
В морщинах моего увядшего лица,
А скрипки плакали гнусливо, флейта ныла,
И скуке не было конца.

1910

39

Двенадцать. Хлопнула бутылка.
Младенец-год глядит в окно.
В бокале зашипело пылко
Мое морозное вино.
Мне чужды новые желанья,
Но буду ли тужить о том,
Когда цветут воспоминанья
О прошлом счастии моем?

Вот снова я студент московский,
И ты со мной, и снова вскачь
Несет на Дмитровку с Покровской
Нас тот же бешеный лихач.
Ты, вся забросана мятелью,
Ко мне склонилась на плечо.
Под николаевской шинелью
Как бьется сердце горячо!

Вот Благородное собранье,
Сиянье люстр, улыбок хмель.
Еще минута ожиданья —
И прожурчала ритурнель.

Кладу на подоконник шпагу.
По зале шорох пролетел,
И вот, будя в груди отвагу,
На хорах мерно вальс запел.

1911

40

Ты как жасмин. Любимый мой цветок,
Томящий сердце вкрадчиво и сладко.
Он опьяняет, как волшебный ток,
В нем нега томности, в нем страсти лихорадка.

О нет, недаром схож жасмин с крестом:
Неодолима девственная сила
И в тонких лепестках, и в венчике густом,
Как золотое папское кадило.

Не от него ль, скажи, душистых, чистых рос
Живые брызги с летних зорь летели,
Чтоб золотом чуть видимых волос
Вдруг заблестеть на нежном этом теле?

Не умертвит его холодный май,
Июнь его хранит, ленивый и счастливый.
Благоухай, любовь, благоухай:
Ты и жасмин, жасмин и ты — мои вы.

1911

41

Смолк соловей, отцвел жасмин.
Темнеет вечер всё заметней.
В глуши разросшихся куртин
Застрекотал кузнечик летний.

Что день, то громче он поет,
Как будто песней время мерит.
Ему ответно сердце бьет
И снова счастью верит, верит.

В кустах, куда ни погляжу,
Чернеет глянец спелых вишен.
Весь день я по саду брожу,
И всюду мне кузнечик слышен.

1911

42

В небе бисерные блестки,
На морозе огоньки.
Стынут елочки, киоски.
Я принес твои коньки.

В шубке ты проворней белки.
Фонари мерцают в грелке.
Подвяжу тебе коньки я.
Ножки стройные легки.

С белой муфтой, в платье сером,
Ускоряя верный ход,
Ты помчалась с кавалером
Разрезать звездистый лед.

Стынут лавочки и елки,
Вьются снежные иголки.
Одинокий на катке я.
Ты летаешь вдалеке.

Ты Снегурка, дочь Мороза,
На железных башмачках.
Счастье — сказочная греза
В голубых твоих зрачках.

Стынут елочки, киоски,
В небе искры, в небе блестки.
Небо блещет огоньками.
Мелодичен ход конька.

1911

43

Не любовь ли нас с тобою
В санках уличных несла
В час, когда под синей мглою
Старая Москва спала?

Не крылатый ли возница
Гнал крылатого коня

В час, когда спала столица,
Позабыв тревогу дня?

Помню иней над бульваром,
В небе звездные рои,
Помню веющие жаром
Губы алые твои.

У часовни подле кружки
Слабый огонек мигнул.
Занесенный снегом Пушкин
Нам задумчиво кивнул.

Под веселый свист мятели
Месяц серебрил Москву.
Это было в самом деле,
Это было наяву.

1911

44

С тех пор как стало всё равно,
Тоска души моей не гложет.
Я знаю — это суждено,
И будет, и не быть не может.

И всё мне грезится тот час,
Когда, перед погасшим оком,
В томленьи диком и глубоком
Зажжется свет в последний раз.

И каждый день чертой недвижной
Мне предстает земной конец.
Не человек и не мертвец
Я — некто странный, неподвижный.

Еще в глаза мне бьется день,
Зеленым сумраком плывущий,
А уж могильных крыльев тень
Меня одела смертной кущей.

Уходит жизнь, как легкий дым,
В сознаньи страха и обиды,
Лишь возглас первой панихиды
Мирит умершего с живым.

1911

45

Сердце стальное, не бойся мороза:
Всем ты стихиям равно недоступно.
Смерти не знает увядшая роза.
В чем ты виновно и чем ты преступно?

Жалость и нежное счастье напрасно
Светоч к тебе подносили дрожащий.
Жгла, раскаляя, любовь тебя страстно:
Страсть не расплавила стали шипящей.

Пусть, умоляя святыми глазами,
Милые тени, как прежде, восстали:

Ты не заплачешь живыми слезами,
Сердце холодное, сердце из стали.

Лишь сладострастия пламя больное
Жалом змеиным ласкает любовно
Сердце холодное, сердце стальное.
Нет, не преступно оно, не виновно.

1911

46. ЖЕРТВА

И ты под белою гробницей
Обрел ненарушимый сон.
Увенчан царственною птицей,
Овеян шелестом знамен.

Когда в тылу войны бесславной
Всклубился бунт, как хвост змеи,
Ты молча принял крест державный
На плечи мощные свои.

От верноподданного строя
Мятежный сброд, смутясь, бежал,
А беззащитного героя
Пронзил предательский кинжал.

И вот теперь в гробу кровавом
Тебя покоит тишина.
Осенены орлом двуглавым,
Сурово веют знамена.

Блестят, как звезды ночью майской,
Огни лампад, лучи венцов.
Твое надгробье кистью райской
Украсил Виктор Васнецов.

Немым вопросам нет ответа,
Но, умиляясь и скорбя,
В час неизбежного рассвета
Мы все ответим за тебя.

1911

47

Там, где елки вовсе близко
Подошли к седому пруду
И покрыли тенью низкой
Кирпичей горелых груду,

Где ручей журчит и блещет
Серебря́ною игрушкой,
Жил да был старик-помещик
Со своей женой старушкой.

Скромный прапорщик в отставке,
Обходительный и чинный,
В палисаднике на лавке
Восседал он с трубкой длинной.

А она, чепцом кивая,
В цветнике читала книжку,

Мятным квасом запивая
Городецкую коврижку.

Были дни, и люди были,
И куда-то всё пропало:
Старики давно в могиле,
Дом сгорел, цветов не стало.

И теперь в овраге низком
Только с ветром шепчут елки,
Да кружатся с диким пеньем
Ястребята и орелки.

1911

48

В расцвете чистых первых дней
Я сердце жадно расточал
И всем дарил, кого встречал,
Сокровища души моей.

Я думал, щедростью до дна
Моя душа истощена
И не осталось больше в ней
Ни нежных перлов, ни камней.

Но только свой последний клад
Я захотел тебе отдать,
Гляжу — душа полна опять,
Опять я щедр, опять богат.

Нет, вдохновений глубины
Не исчерпала грудь моя,
Мои сокровища полны,
И множит их любовь твоя.

1912

49. МОЕЙ ЛУКОВИЦЕ

Прабабушка брегетов новых,
Восьмнадцатого века дар!
Тебя за пятьдесят целковых
Мне уступил друг-антиквар.

На белом поле цифры мелки.
Над ними, вставлены в алмаз,
Три золотых узорных стрелки
Показывают день и час.

Люблю я, снявши оболочку,
Подняв две крышки и стекло,
Следить, как, трогая цепочку,
Колеса ходят тяжело.

И, сидя по утрам в халате
За самоваром, всякий раз
Искать на старом циферблате
Следы давно угасших глаз.

Ловить исчезнувшие лица,
Схороненные имена
Помещиков времен Фелицы,
Защитников Бородина.

Ты светишь мне былым приветом.
На долгий иль короткий срок
Связал тебя с моим жилетом
Старинный бисерный шнурок?

Придет пора: рука Плутона
И мне укажет умереть.
Тогда, создание Нортона,
Мой смертный день и час отметь!

1911

50. ВЕСНА

Зимой, в мороз сухой и жгучий,
Разрыв лопатами сугроб
И ельник разбросав колючий,
В могилу мой спустили гроб.

Попы меня благословили
Лежать в земле до судных труб.
Отец, невеста, мать крестили
Закрывшийся навеки труп.

Один, в бессонном подземелье,
Не оставлял меня мороз:
К моей глухой и тесной келье
Дыханье жизни он принес.

И в темноте земных затиший,
Струясь ко мне, как белый дым,
Испод моей тяжелой крыши
Заткал он серебром седым.

Ложился тихо светлый иней,
Как легкий пух полярных птиц,
На чернеть губ, на лоб мой синий,
На темную кайму ресниц.

Так я лежал, морозом скован,
Покорен и бездумно-строг.
Был тишиною очарован
Кладбищенский немой чертог.

Вдруг сразу сделалось теплее.
Мороз бежал с подземных троп,
И с каждым днем всё тяжелее
И уже становился гроб.

Там бредом мартовским невнятно
Журчали где-то ручейки.
Мое лицо покрыли пятна
И белой плесени грибки.

Вздуваясь, я качался зыбко.
Ручей журчал вблизи, и вот
Непобедимая улыбка,
Оскалясь, разорвала рот.

Он близок, мой удел конечный.
С ним исчезая в странном сне,
Я шлю моей улыбкой вечной
Приветствие весне, весне!

1911

51. ЗЕМЛЯНИКА

Мама, дай мне земляники.
Над карнизом свист и крики.
Как поет оно,
Как ликует, птичье царство!
Мама, выплесни лекарство,
Отвори окно!

Мама, мама, помнишь лето?
В поле волны белоцвета
Будто дым кадил.
Вечер томен; над долиной
В жарком небе взмах орлиный,
Прокружив, застыл.

Помнишь, мама, ветра вздохи,
Соловьев последних охи,
В лунных брызгах сад?
Лунных сов родные клики,
Земляники, земляники
Спелый аромат?

Земляники дай мне, мама.
Что в глаза не смотришь прямо,
Что твой взгляд суров?
Слезы капают в тарелки.
Полно плакать о безделке:
Я совсем здоров.

1911

52. МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ

Серебристые, резные
Переливы на стекле.
То пушистые, сквозные
Чайки перья вырезные
Распластали в белой мгле.

Как воздушны эти крылья
На сияющем окне!
Но недвижны их усилья:
Истомясь тоской бессилья,
Стынут чайки в белом сне.

Будто звездные осколки
Мерзнут в искрах голубых.
Уж не чайки это: елки
Ткут морозные иголки,
Ткут узор ветвей седых.

Меркнет. В сумеречной ласке
На лазоревом стекле,
Сквозь гирлянды белой сказки,
Как глаза в прорезах маски,
Звезды светятся во мгле.

1911

53. П. И. БАРТЕНЕВУ

Халат, очки, под мышкою костыль,
Остывший чай, погасшая сигара.
А разговор живого полон жара,
Свевает с прошлого столетий пыль.

От детства возлюбя родную быль,
Чуждался он житейского базара
И в наши дни безумства и угара
Хранил московский быт и русский стиль.

В стране теней и ты теперь далече,
Но помнятся мне старческие речи,
Лукавый взор и благодушный смех.

Твой памятник — путь «Русского Архива»,
Где наши внуки будут терпеливо
Бродить среди столбов твоих и вех.

1912

54. ПОСЛЕ ОБЕДА

Люблю я, утомясь обедом,
На кресле ждать под серым пледом,
Чтоб по обоям голубым
Вечерний заструился дым.
Медовой, липкою дремотой
Ласкает сумрак мне глаза,
Лампадный вздох на образа
Ложится тихой позолотой,

И в облаках субботней мглы
Чуть светят ножны и стволы,
Вечерним ладаном одеты;
Со стен, приветны и легки,
Глядят мечтательно портреты
И книг сафьянных корешки.
В заветный час привычной неги
Люблю следить борьбу теней
С тенями уличных огней,
Их пораженья и набеги.
Блаженный и спокойный жар
Под душным пледом сонно бродит,
И лишь ко всенощной удар
Из сладких чар меня выводит.

1912

55. ЖЕЛУДОК

В былые дни сердечный пыл
И волю плавил, и рассудок,
Но холод жизненный поплыл —
И всё угасло. Не остыл
Один лишь дар судьбы — желудок.
Жив Прометей в его огне!
Бессмертный, правит он во мне
Над неизбежностью победу
И мерит в каждом новом дне
Часы от завтрака к обеду.
С утра велит он вспоминать
Умершей юности уроки

(Бьет час, два, три, четыре, пять),
И Валтасаровы читать
На стенах огненные строки.
Без сил, как ослабелый лук,
Я жду конца. Но шесть пробило,
Свершила стрелка полукруг,
И он ворчит, как старый друг:
Утешься: всё что было — было.
Пусть изменяют дни твои,
Но не изменит ростбиф вечно,
И подогретого Нюи
Благословенные струи
Всё будут литься бесконечно.
Стихает времени полет,
Забыта жизни злая шутка.
К десерту юность восстает,
И воскресает, и живет
По воле неба и желудка.

1912

56

Мне ничего не надо.
Поздно мне ворожить.
В жизни моя награда.
Боже, позволь мне жить.

Тебе ли угодно было
Венец обесславить мой,
Черных ли ратей сила
Издевается надо мной.

В смертной глухой трясине
Под холодным ливнем томясь,
Не хочу я молиться тине,
Славословить земную грязь.

Вот на миг дожди отступили.
Отдохну и я в темноте.
Боже, дай подышать без цели,
Помолиться чужой красоте.

Пусть ворота святого сада
Дано другим сторожить:
Мне ничего не надо,
Только позволь мне жить.

1912

57

Отряхнула туманные крылья
Испещренная пухом седым
И, волнуя росистое былье,
Унеслась в зацветающий дым.

И с размаху, под оклик напевный,
На опушке ударясь о пень,
Поднялась из-под перьев царевной,
Молодой и прекрасной, как день.

1913

58. З. В. ЮНГЕР

Уж поезд, обогнув вокзал,
Шипел и ждал, как змей крылатый,
Когда, застенчивая, в зал
Походкой скромною вошла ты.

Улыбки свежей серебро
В румяных розах затаилось,
И страусовое перо
Над черной шляпкою струилось.

Ты чай рассеянно пила,
Но синий взор смотрел всё строже,
И в этот миг ты мне была
И жизни, и мечты дороже.

Свисток прощальный жадно взвыл,
И, медленно плывя в пространство,
Я понял вдруг, что полюбил
Со всем упорством постоянства.

За мной глаза твои цвели,
Лучился тихий свет улыбки,
А между тем вагоны шли,
Уверенны и мерно-зыбки.

Как грустно под колесный гром
Любимое лицо мелькнуло,
Как серебристое перо
Любовно к черной шляпе льнуло.

1913

59

Снова о смерти мечтаю любовно.
Жить я хочу, но и смерть мне желанна.
Пусть мои годы невидимо, ровно
К старости мирной текут неустанно.
Станут далекими близкий и кровный,
Сказкою жизнь оборотится странной.
Детские зори, пылая слезами,
Глянут в глаза мне родными глазами.

Вновь, от заката приближась к восходу,
Тешиться буду веселой гремушкой.
Елку засветят мне к Новому году,
Стол именинный украсят игрушкой.
В старость войду, как в глубокую воду.
Смерть ожидала над тихой подушкой.
В час голубой, упоительно-нежный
Сладко услышу призыв неизбежный.

Если б твой призрак возникнул у гроба
В час, как уложат мне мертвые руки,
Если б свела нас земная утроба
В черных подвалах кладбищенской скуки!
Ах, я боюсь: не узнаем мы оба
Прежнего счастья! в пространстве разлуки
Новые зори, пылая слезами,
Глянут в глаза нам чужими глазами.

1913

60

Что ты, мальчик, робко жмешься
К матери своей,
Отчего не улыбнешься
Ей?

Звезды там, а здесь мигают
Дымные огни,
И бегут и убегают
Дни.

Вьются, легкие, как шутка,
Звезды в вышине,
Но боишься ты, и жутко
Мне.

Там лазурью голубою
Небо залито.
Кто же проклял нас с тобою,
Кто?

1913

61. А. А. АХМАТОВОЙ

К воспоминаньям пригвожденный
Бессонницей моих ночей,
Я вижу льдистый блеск очей
И яд улыбки принужденной.
В душе, до срока охлажденной,
Вскипает радостный ручей.

Поющим зовом возбужденный,
Я слышу томный плеск речей
(Так звон спасительных ключей
Внимает узник осужденный),
И при луне новорожденной
Вновь зажигаю шесть свечей.

И стих дрожит, тобой рожденный.
Он был моим, теперь — ничей.
Через пространство двух ночей
Пускай летит он, осужденный
Ожить в улыбке принужденной
Под ярким холодом очей.

1913

62. БЕЛОЦВЕТ

По грудам битого стекла,
Объедков, мусора и сора,
Задворком темным, вдоль забора,
Святая кровь моя текла.

Покорна доле безотрадной,
Из сердца юного струясь,
Близ ямы, где плевки и грязь,
Она застыла лужей смрадной.

Но, райский излучая свет,
По небу ангелы проплыли,
И распустился белоцвет
На грудах падали и гнили.

И пышут волны лепестков,
Румяно-белых, нежно-страстных,
И дышат лопасти листков,
Благоуханных и прекрасных.

Куда ни оборотишь взгляд,
Разливом ярким млеет лето:
Цветет могучий Божий сад,
Живое море белоцвета.

Но если ты, цветы любя,
Росток, вспоенный мертвой кровью,
Сорвешь и в спальне у себя
Поставишь на ночь к изголовью,

Отравлен будешь к утру ты
И до последнего мгновенья
В живом дыханьи красоты
Всё будешь слышать запах тленья.

1913

63

Как ты пленил меня небрежною отвагой,
Суровый юноша в бобрах, со шпагой.

Заря пылала, щеки пламенели.
Ты помнишь: пир шумел, цыгане пели?

Вчера на улице ты собирал окурки,
Засаленный, опухший, в рваной куртке.

Я издали узнал твою походку
И, отвернувшись, дал тебе на водку.

1913

64 . ПАЛЛАДА

С кудряво-золотистой головы
Сняв гордый шлем, увенчанный горгоной,
Ты мчишь свой челн в залив темно-зеленый,
Минуя риф и заросли травы.

Ждет Сафо на скале. Сплелись в объятьях вы,
И тает грудь твоя, как воск топленый,
Но вот к тебе несет прибоя вздох соленый
Остерегающий призыв совы.

Прости, Лесбос, прости! О, Сафо, не зови!
Не веря счастию, не верю я любви:
Под розами смеется череп, тлея.

И, легконогая, взлетая вновь на челн,
Обратно мчишься ты по лону вечных волн,
Тоску бессмертную в груди лелея.

1913

65. ГЮИ ДЕ МОПАССАН

Вечерний выстрел грянул над водой,
И, клюв раскрыв, в крови упала птица,

Зловещая, холодная зарница
Замедлила над розовой слюдой.

Закрылась вдохновенная страница.
О Мопассан! Твой призрак молодой
Томит наш век угрюмый и седой,
Как тягостных кошмаров вереница.

Среди продажных женщин, злых людей
Ты видел игры звездных лебедей
И вздохи роз в угарном слышал дыме.

Ты помнишь ли последний час, Гюи?
К тебе пришли домашние твои,
А ты шептал любимой лодки имя.

1914

66–69. ИСТОРИЯ КУПЛЕТА

I

Двадцатые годы

Лизета, милая Лизета,
Я воздыхаю по тебе.
Туманом рощица одета,
Заплакал филин на трубе.
Я рву цветочки для любезной,
За мною бабочки летят,
Любовь душе моей полезна,
Как летом вкусный лимонад.

II

Сороковые годы

Директор департамента
Меня поцеловал
И на листе пергамента
Награду подписал.
От похвалы начальника
Очнувшись поутру,
Я у столоначальника
Столовые беру.

Его превосходительство
Мне перья поручил.
Под их я покровительством
Сто дюжин очинил.
Их камеристка Линочка
Придерживала дверь,
И вот уж их кузиночка
Невеста мне теперь!

Раз в жизни нам родиться,
Живя, весь век учись:
Чтоб с барышней слюбиться,
За девкой волочись.

III

Шестидесятые годы

Вся преисполнена горем,
Плачет родная страна.
Водка свирепствует морем,
И голодает жена.

Эх, православные массы,
Что же над вами творят?
Пьют за прогресс и за кассы,
И говорят, говорят.

Ходят в театры, в концерты,
Даже, о, ужас, в балет!
И рассылают конверты
В Пизу, в Париж, в Тарталет.

Знать не желают несчастья.
Устрицы, пышный наряд.
Топят в вине сладострастье,
И говорят, говорят.

IV

Восьмидесятые годы

Тарарабумбия,
Сижу на тумбе я,
Домой не двинусь я —
Там теща ждет меня.

Боюсь изгнания,
Волосодрания.
Такая участь суждена,
Когда ученая жена!

Тарарабумбия,
Здесь не Колумбия:
Здесь наши гласные
Во всем согласные.

Дела доходные,
Водопроводные.
Всё нам полиция решит,
Покуда дума крепко спит.

Изучил: Борис Садовской
1916

70

От жары смеется солнце,
Распестрилося оконце,
Накалилась лавочка.
Мы в сторожке не скучаем
За яичницей, за чаем,
Но смотри: над молочаем
Сахарная бабочка.

Вьется, плавает, трепещет.
Солнце жжется, солнце блещет.
Дай твою булавочку.
Сердце радуется маю.
Тихо руку подымаю.
Я сейчас тебя поймаю,
Сахарную бабочку.

Ах, с репейника на кашки,
От черемухи к ромашке,
В куст, где свищет славочка,
Где крестовик сеть мотает,
Ах, всё выше улетает
Сахарная бабочка.

1914

71. МОНАШЬЯ

Ты игумен, игумен мой,
Клобук черный, глаза бесстыжие,
Ты зачем меня в чернецы постриг,
Удалого добра молодца?
Уж я посох под стол брошу,
Камилавочку под лавочку:
Не мое дело к обедне ходить,
Не мое дело к вечерне звонить,
Я хочу пить зелено вино,
С молодицами песни играть,
Красных девок в келью важивать.

<1914?>

72

В нечистом небе бесятся стрижи.
Тускнеют лица под налетом пыли.
Бесстыдно голосят автомобили.
Душа, очнись и время сторожи!

Пусть прошлое уходит: не тужи.
О нем лесные зори не забыли.
Там ландыши сияние разлили
И ястреб ждет над океаном ржи.

Туда перенеси свой вечный город
И, сбросив пошлость, как крахмальный ворот,
Ищи в полях единственных отрад.

Под шепот ветра нежно-терпеливый,
Под перекличку птиц, под шорох нивы
Взыскуемый тебе предстанет град.

1914

73

Вижу: ты сидишь в постели,
Распустила волоса.
За стеною свист мятели
И колдуний голоса.

Ждет метла тебя у печки,
И камин разинул рот.
У совы глаза как свечки.
Ощетинил спину кот.

Ты поёшь. Глухой истомой
Песня тайная звучит,
Птицей черной и знакомой
К моему окну летит.

Но, вернувшись утром, знаю,
Ты невинно отдохнешь
И к родительскому чаю
Скромной девочкой сойдешь.

1914

74–85. САМОВАР

У меня ли не жизнь? Чуть заря на стекле
Начинает лучами с морозом играть,
Самовар мой кипит на дубовом столе
И трещит моя печь, озаряя в угле
За цветной занавеской кровать!

Полонский

1. ИЗДАТЕЛЮ

А. М. Кожебаткину

Я стихотворству, ты изданью
От юных лет обречены,
Мы в о д о х л е б ы, по преданью
Нижегородской старины.
Струями волжской Ипокрены
Вспоили щедро нас Камены
И Мусагета водомет.
Теперь фонтан его поет
В лугах лазурной Альционы.
Заветы Пушкина храня,
Ты отблеск чтишь его огня
И красоты его законы;
За то несу тебе я в дар
Мой одинокий самовар.

2. ПРЕДИСЛОВИЕ

Самовар в нашей жизни, бессознательно для нас самих, огромное занимает место. Как явление чисто русское, он вне понимания иностранцев. Русскому

человеку в гуле и шепоте самовара чудятся с детства знакомые голоса: вздохи весеннего ветра, родимые песни матери, веселый призывный свист деревенской вьюги. Этих голосов в городском европейском кафе не слышно. Человек, обладающий самоваром, уже не одинок. Ему есть с кем разделить время, от кого услышать добрый совет, близ кого отогреться сердцем. Двое собеседников в сообществе самовара теплей сближаются, понимают нежней друг друга. Целомудренная женщина подле самовара сразу овевается поэзией подлинного уюта и женственной чистоты. Сельскому жителю самовар несет возвышенный эллинский хмель, которого одичалый горожанин уже почти не знает. И конечно, не чай в собственном смысле рождает в нас вдохновенье; необходим тут именно самовар, медный, тульский, из которого пили отец и прадед; оттого скаредный буфетный подстаканник с кружком лимона так безотрадно уныл и враждебен сердцу. Самовар живое разумное существо, одаренное волей; не отсюда ли явилась примета, что вой самовара неминуемо предсказывает беду? Но все это понятно лишь тем, кто сквозь преходящую оболочку внешних явлений умеет ощущать в себе вечное и иное. Потребно иметь в душе присутствие особой, так сказать, самоварной мистики, без которой сам по себе самовар, как таковой, окажется лишь металлическим сосудом определенной формы, способным, при нагревании его посредством горячих углей, доставить известное количество кипятку.

31 Декабря 1913. Владыкино

Б. С.

3

Страшно жить без самовара:
Жизнь пустая беспредельна,
Мир колышется бесцельно,
На душе тоска и мара.

Оставляю без сознанья
Бред любви и книжный ворох,
Слыша скатерти шуршанье,
Самовара воркованье,
Чаю всыпанного шорох.

Если б кончить с жизнью тяжкой
У родного самовара,
За фарфоровою чашкой,
Тихой смертью от угара!

4. РОДИТЕЛЬСКИЙ САМОВАР

Родился я в уездном городке.
Колокола вечерние гудели,
И ветер пел о бреде и тоске
В последний день на Масляной неделе.

Беспомощно и резко я кричал,
Водою теплой на весу обмытый,
Потом затих; лишь самовар журчал
У деревянного корыта.

Родился я в одиннадцатый день,
Как вещий Достоевский был схоронен.

В те времена над Русью встала тень
И был посев кровавый ей взборонен.

В те времена тревожный гул стонал,
Клубились слухи смутные в столице,
И на Екатерининский канал
Уже готовились идти убийцы.

Должно быть, он, февральский этот зов,
Мне колыбель качнул крылом угрюмым,
Что отзвуки его на грани снов
Слились навеки с самоварным шумом.

Как уходящих ратей барабан,
Всё тише бьют меня мои мгновенья,
Но явственно сквозь вечный их туман
Предвечное мне слышится шипенье.

Всё так же мне о бытии пустом
Оно поет, а вещий Достоевский
Всё так же, руки уложив крестом,
Спит на кладбище Александро-Невском.

5. СТУДЕНЧЕСКИЙ САМОВАР

Чужой и милый! Ты кипел недолго,
Из бака налитый слугою номерным,
Но я тебя любил как бы по чувству долга,
И ты мне сделался родным.

Вздыхали фонари на розовом Арбате,
Дымился древний звон, и гулкая метель
Напоминала мне о роковой утрате;
Ждала холодная постель.

С тобой дружил узор на ледяном окошке,
И как-то шли к тебе старинные часы,
Варенье из дому и в радужной обложке
Новорожденные «Весы».

Ты вызывал стихи, и странные рыданья,
Неразрешенные, вскипали невзначай,
Но остывала грудь в напрасном ожиданьи,
Как остывал в стакане чай.

Те дни изношены, как синяя фуражка,
Но всё еще поет в окне моем метель,
По-прежнему я жду, как прежде, сердцу тяжко
И холодна моя постель.

6. САМОВАР В МОСКВЕ

Люблю я вечером, как смолкнет говор птичий,
Порою майскою под монастырь Девичий
Отправиться и там, вдоль смертного пути,
Жилища вечные неслышно обойти.

Вблизи монастыря есть домик трехоконный,
Где старый холостяк, в прошедшее влюбленный,
Иконы древние развесил на стенах,
Где прячутся бюро старинные в углах.
Среди вещей и книг, разбросанных не втуне,
Чернеются холсты Егорова и Бруни.
Там столик мраморный, там люстра, там комод.

Бывало, самовар с вечерен запоет
И начинаются за чашкой разговоры
Про годы прежние, про древние уборы,

О благолепии и редкости икон,
О славе родины, промчавшейся, как сон,
О дивном Пушкине, о грозном Николае.

В курантах часовых, в трещотках, в дальнем лае
Мерещится тогда дыханье старины,
И оживает всё, чем комнаты полны.
В картинах, в грудах книг шевелятся их души.

Вот маска Гоголя насторожила уши,
Вот ожил на стене Кипренского портрет,
Нахмурился Толстой, и улыбнулся Фет,
И сладостно ловить над пылью кабинетной
Былого тайный вздох и отзвук незаметный.

7. САМОВАР В ПЕТЕРБУРГЕ

О Петербург, о город чародейный!
Я полюбил тебя, фантом туманный,
Огни витрин, и окон блеск обманный,
И сырость вод, и Невский, и Литейный.
С тобой, волшебник призрачный и странный,
Я полюбил уют мой бессемейный.

Здесь чувствуешь себя нечеловеком.
Здесь явь как сон, действительность как сказка.
И вот уж не лицо на мне, а маска,
И всем я равен, принцам и калекам,
И льнет беспечность легкая, как ласка,
Как поцелуй, к моим тяжелым векам.

Здесь после дня, прошедшего без меты,
Как на экране кинемо-театра
Развинченной походкой па-де-катра

Бреду по Невскому, купив газеты,
С коробкой карамели «Клеопатра»,
И сладки мне душистые конфеты.

А дома самовар из красной меди
С соленым маслом, с маковой подковкой.
Быть может, гостья с римскою головкой,
Холодная и строгая, как леди?
Нет никого. Вздыхаю над «Биржевкой»,
Томлюсь в вечернем петербургском бреде.

8. В САНАТОРИИ

Седых ветвей подборы,
Сорочьих лап узоры
На голубом снегу.
В тиши чужой деревни,
Как в келье инок древний,
Я сердце берегу.
Гуляю по дороге
Без дум и без тревоги.
Указан срок минут,
И тяжкий отдых сладок.
Без мыслей, без загадок
Пустые дни идут.
За мной дымятся трубы.
Там город, черный латник,
Грозит земле родной,
Там оскверняет губы
Красавице развратник
В постели площадной.

Вернувшись в дом постылый,
Гость чуждый и немилый,
В окне зари пожар
Слежу я равнодушно,
И никелевый скучный
Не дышит самовар.
Но визг стрелы, сурово
Пропевший об отмщеньи,
Не трогает судьбу:
Развратник ищет снова
Ночного приключенья,
Красавица в гробу.

9. УМНОЙ ЖЕНЩИНЕ

Не говори мне о Шекспире,
Я верю: у тебя талант,
И ты на умственном турнире
Искуснее самой Жорж-Занд.

Но красотой родной и новой
Передо мной ты расцвела,
Когда остались мы в столовой
Вдвоем у чайного стола.

И в первый раз за самоваром
Тебя узнал и понял я.
Как в чайник длительным ударом
Звенела и лилась струя!

С какою лаской бестревожной
Ты поворачивала кран.
С какой улыбкой осторожной
Передавала мне стакан!

От нежных плеч, от милой шеи
Дышало счастьем и теплом.
Над ними ангел, тихо рея
Влюбленным трепетал крылом.

О, если б, покорившись чарам,
Забыв о книгах невзначай,
Ты здесь, за этим самоваром
Мне вечно наливала чай!

10. МОНАСТЫРСКИЕ МЕЧТЫ

Когда засеребрится
Туманом борода
И в вечность загорится
Предсмертная звезда,
Тогда зарей вечерней
В душе всплывает Бог
И дышится размерней
Под колокольный вздох.

О, тихая обитель,
О, звон монастыря!
Веди меня, Хранитель,
К ступеням алтаря!
Там будет жизнь легка мне,
Где благовест дрожит
И гробовые камни
Ограда сторожит.

Сойду ли в лес, что вырос
Над городом гробов,
Взойду ль на синий клирос
В стенании псалмов,

Свечу ль пред Чудотворной
Дрожащую зажгу,
Я, грустный и покорный,
Молиться не могу.

Когда ж часы-кукушка
Пробьют восьмой удар
И принесет мне служка
Шумящий самовар,
Присев к родному чаю,
Молитву сотворю
И сердцем повстречаю
Бессмертную зарю.

Тогда, в тиши счастливой,
Под схимою росы,
В молитве торопливо
Задвижутся часы,
И будет ночь легка мне,
Пока белеет ширь
И задевает камни
Крылами нетопырь.

11. НОВОГОДНИЙ САМОВАР

В мире сказочного гула
Пара мерные струи.
Льдом зеркальным затянуло
Окна синие мои.

Чай с вареньем пьется сладко,
Книга ровно шелестит.

Не заправлена лампадка:
Богородица простит.

Вижу: лапы белых елей
Кротко смотрятся в окно,
За окном былых мятелей
Серебрится полотно.

Стихло сердце. Только горы
Голубого хрусталя
Рядит в звездные узоры
Отрешенная земля.

Я забылся, я спокоен.
Всё узоры, гул и пар.
В Новый год, как отрок строен,
Закипай, мой самовар!

12. РАЗОЧАРОВАНИЕ

Полдневный зной настал. Дорога нелегка.
Несу с усилием слабеющее тело,
Как будто голову мне давят облака,
Как будто подо мной земля отяготела.

По листьям золотым отцветшая весна
К долине сумрачной низводит путь отлогий.
Иду, и ни любовь, ни радости вина
Не озаряют дум божественной тревогой.

Любить? Но женщины ничтожны, как цветы,
А наслаждение напрасной длится мукой:

В чужих объятиях мгновения пусты,
Взлелеянные холодом и скукой.

На книги ли взгляну: как скучные пески,
Пыль библиóтеки, иссохшее болото,
Где мысли старые кричат, как кулики,
Но валится ружье и тяжела охота.

Перегорев душой, я время провожу
В уютной праздности; ни весел, ни печален,
В пустыне легких дней, как ветер я брожу
Стучать под окнами чужих счастливых спален.

Мой идеал покой. О, если б я встречал
Все ночи в комнате лазоревой и мирной,
Где б вечно на столе томился и журчал
На львиных лапках самовар ампирный!

<1914>

86. ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ ЮРКУНУ НА ПАМЯТЬ

Пусть наступают дни осенних хмар,
Нам нечего бояться лихорадки:
Вы распорядитесь поставить самовар,
А я надену шведские перчатки.

1914

87

Будь молчалив и верен, как орел.
Пускай рои гудящих жадно пчел
Сбирают мед с цветов свободной мысли:
Спеши вперед. Жизнь странника легка,
Но день обманчив. Смерти облака
Над головой твоей с утра нависли.

<1915?>

88

Дышут ландыши весной,
Смерть танцует под сосной.
Плещут весла в гавани,
Смерть танцует в саване.

Собрался, голубчик, плыть,
Да меня забыл спросить.
Волею-неволею,
Ехать не позволю я.

Дышут ландыши весной,
Роют яму под сосной
На Господнем пастбище,
На родимом кладбище.

Ожила, поет трава.
Заиграла синева
Пташками, букашками,
Белыми барашками.

Я на небе оживу,
Я по небу поплыву.
Солнечные облаки,
Голубые яблоки.

1915

89. К. Р.

Музы ко гробу вождя своего ароматы приносят.
Лавры ему на чело сам Аполлон возложил.
Цепь из орлов золотых и державного пурпура складки,
Под величавым венком с лирой скрестившийся меч.

1915

90

Все эти дни живу в тени я
Каких-то сумрачных пещер,
Томит меня неврастения,
Мерещится мне револьвер.

Из коридора в сумрак белый
Уводит тайный скуки след.
Там потолок мой закоптелый
Спускается в тяжелый бред.

Старею я неудержимо,
Не вижу ничего, не жду,
Когда же вы пройдете мимо,
Как в ослепительном бреду,

Я вскакиваю, жду печально,
Но вспоминаю: всё равно,
И вновь захлопываю спальной
Чернеющееся окно.

1915

91

Иволга свищет в пустынном лесу.
Красную девицу молодец ищет.
Горькую жизнь я один не снесу.
Молодец плачет, а иволга свищет.

Что ты там, глупая птица, свистишь.
Видно, не знаешь любовного горя?
В черную речку глядится камыш,
Тучи ползут из-за синего моря.

Птица смеется, летит стороной:
Поздно хватился ты, молодец милый.
Ищут невесту весенней порой,
Осенью ждут над раскрытой могилой.

Брось же искать молодую красу.
В голом осиннике вешался нищий.
Плачет старик в облетевшем лесу,
Петлю готовит, а иволга свищет.

1915

92

К тополям плывут белесые туманы,
По полям спешат смоленские уланы.

Впереди начальники седые,
Позади солдатики младые.

Проскакали свежими бороздами,
Распугали ворон с дроздами.

За околицу выехали к речке.
Видят: баба пригорюнилась на крылечке.

«Нет ли с вами моего Степана,
Удалого смоленского улана?»

Отвечал ей старший полковник:
«Твой Степан давно уж покойник».

Уланы деревню проскакали.
Туманы развеялись и пропали.

Вдоль полей помчались эскадроны,
С тополей на них кричали вороны.

Заблеяли у околицы овечки,
А баба всё молится на крылечке.

1916

93

Вы прозябали в мутном полусне
Бесцельно-хмуры, безразлично-кротки,
Как узники в окованной колодке,
Как мухи зимние в двойном окне.

Мир колебался в буре и в огне,
А вы гроши считали у решетки.
Не верили ни солнцу, ни весне,
Но веровали твердо в рюмку водки.

Трухлявые, с водянкою в крови,
Без веры, без надежды, без любови
По жизни вы прошли неверным звуком.

Какая кара ожидает вас,
Как страшен будет ваш последний час,
Каким обречены вы вечным мукам!

1916

94

Бежал я материнской ласки,
Чуждался я забот отца,
Почуяв в первой детской сказке
Весь ужас ночи и конца.

И вот, измученный калека,
К могиле ковыляя вспять,

Я вновь увидел человека,
Каким я был и мог бы стать.

Мой мальчик, стройный, светлоокий,
Я не отдам тебя судьбе.
На мне удар ее жестокий,
Он не достанется тебе.

Я поддержу, когда ослабнешь,
Я укажу, куда идти,
И ты живым зерном прозябнешь
На гробовом моем пути.

Мой сын, нет в мире зла опасней
Дремоты полумертвеца.
Нет унижения ужасней:
Краснеть за своего отца.

1916

95

Раскинув пред образом руки,
Он долго молился без слов,
Лишь слышались вздохи да стуки
Тяжелых его сапогов.

И тут же с высокой постели
В морозный полуночный час
С надеждой на старца глядели
Две пары измученных глаз.

1916

96. ЧЕРВИ

Венец терновый на холодном лбу
(Возложен на нее с давнишних пор он),
Застыл позор во взоре помертвелом.
Россия мертвая в покрове белом!
Над телом кружится железный ворон,
И черви жадные кишат в гробу.

Всё умерло и стихло навсегда.
Предания, заветы, честь и слава
Искажены усмешкою двуличной.
Завыл отходную гудок фабричный,
Кипит червей неистовая лава,
И празднуют поминки города.

В родных усадьбах плачутся сычи,
По чердакам среди разбитых стекол
Справляет ветер злые панихиды,
В пустых полях несется плач обиды,
Подстреленный раскинул крылья сокол,
Лишь черви радостно шуршат в ночи.

Ликуйте, гады! Рвите прочь с костей
Покорное, измученное тело!
Ты, ворон зарубежный, выклюй смело
Глаза поблекшие! Валите груды
Сырой земли, могильщики-Иуды,
Встречайте песнями ладьи гостей.

И алчные несутся чужаки
Торжествовать над свежею могилой,

Где погребен последний призрак сказки.
Отпеты песни, почернели краски.
Склонился Дух пред золотою силой,
И выпал жезл из царственной руки.

1916

97. ВОЛЬТЕР НА ТАБАКЕРКЕ

Зовусь я Арруэ. Мой псевдоним Вольтер.
В глазах Людовика я дерзостный безумец,
А в Сан-Суси я был поэт и камергер,
Но возлюбил меня российский вольнодумец,
И с табакеркою не мог расстаться он.
С тех пор я позабыл Версаль и Трианон,
И грубость Фридриха, и лесть Екатерины.
В тамбовской вотчине, где псарня и перины,
Перед закускою лежал я у стола.
Речь непонятная и чуждая текла
Кругом, и лишь порой, будя мое вниманье,
Вдруг сыпался табак и слышалось чиханье.

1916

98. НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Ты стройно очертил волшебный круг
И Русь замкнулась под прозрачным шаром.
В нем истекало солнце тихим жаром,
В нем таял, растворяясь, каждый звук.

Ты первый сам своим поверил чарам
И всемогуществу державных рук,
Тщету молитв и суету наук
Отдав брезгливо мужикам и барам.

Чтоб конь Петров не опустил копыт,
Ты накрепко вковал его в гранит:
Да повинуется Царю стихия.

Взлетев над безвоздушной пустотой,
Как оный вождь ты крикнул солнцу: стой.
И в пустоте повиснула Россия.

1916

99. ЕКАТЕРИНА

При какой усердной мине
Молодой канцелярист
Подносил Екатерине
Золотообрезный лист?

Как ложились в ровном строе
Под прелестною рукой
Есть высокий, *рцы* двойное,
Наш, похожий на *покой*?

Где, пока на документах
Прижимали воск орлы,
Ждали старцы в синих лентах
Высочайшей похвалы?

Кем?.. А почерк величавый
Так же строен и высок,
И крупины яркой славы
Золотой хранит песок.

1917

100. СУВОРОВ

Бриллиантовой шпаги
Золотые ножны́,
Ордена и бумаги
Мне теперь не нужны.

Лишь солдатские души
В беспечальном раю
Помнят оклик петуший
И улыбку мою.

Всё промчится беспечно
В мире лжи и греха,
Но останется вечно
Дерзкий крик петуха.

1917

101. ГОГОЛЬ

В синей с гербами карете
Граф Бенкендорф проезжал.
Франтик в атласном жилете
На мостовую упал.

Неторопливый квартальный
Франту подняться помог:
«Случай, конечно, печальный,
Долго ль остаться без ног.

Это уж кучер таковский.
Ваша фамилия, чин?» —
«Имя мне Гоголь-Яновский».—
«Вы дворянин?» — «Дворянин».

«Вот ваш картузик, встряхнитесь
И отправляйтесь домой.
Только вперед берегитесь,
Кучер у графа лихой».

1917

102. КУКОЛЬНИК

Утром кофей, департамент,
Деловой суровый мир.
Под пером скрипит пергамент,
Зеленеет вицмундир.

Бакенбарды и височки,
Уходя в воротники,
Ставят литеры и точки
Ухмыляются в платки.

До обеда час прогулки.
В полусумраке зари

Потемнели переулки,
Замигали фонари.

Петербургские морозы,
Форнарина, Рафаэль,
Романтические грезы
И бобровая шинель.

1917

103. ЖЕНА ПУШКИНА

С рожденья предал
Меня Господь.
Души мне не дал,
А только плоть.
Певец влюбленный
Сошел ко мне
И, опаленный,
Упал в огне.

В земле мы оба,
Но до сих пор
Враги у гроба
Заводят спор.
Ответ во многом
Я дам не им,
А перед Богом
И перед ним.

1917

104. ФЕТ

В моих мечтах не поздним старцем
Ты грустно смотришь на зарю,
А скачешь юным ординарцем
К великодушному царю.

Как часто всадник вдохновенный
Припоминал на склоне лет
Тот миг, когда в игре военной
Монарху предстоял поэт.

В степи сошлись владыки мира,
И вот, без гимнов и литавр,
С державой сочеталась лира
И с нежной розой строгий лавр.

1917

105. ЦАРИ И ПОЭТЫ

Екатерину пел Державин
И Александра Карамзин,
Стихами Пушкина был славен
Безумца Павла грозный сын.

И в годы, пышные расцветом
Самодержавных олеандр,
Воспеты Тютчевым и Фетом
Второй и Третий Александр.

Лишь пред тобой немели лиры
И замирал хвалебный строй,
Невольник трона, раб порфиры,
Несчастный Николай Второй!

1917

106

Бог всемогущий, продли мои силы,
Дай мне на звезды взглянуть без тревоги,
Дай отдохнуть на пути до могилы,
Остановиться на страшной дороге.

Вечная ночь надвигается плавно.
В круге полярном ушел далеко я.
Жизнь опозорена, гибель бесславна.
Нет мне забвения, нет мне покоя.

1917

107

Душный туман заплели
Тяжкие косы русалок.
Стихли в суровой дали
Смутные говоры галок.

Вертится время назад
Былями сделанной сказки

И на востоке горят
Дряхлого запада краски.

Сумрак обнес города
Вещим загадочным тыном.
Див с векового гнезда
Голосом кличет орлиным.

Вновь о родимой земле
Стонет-поет Ярославна.
Бьется на вражьем седле,
Плачется Игорь державный.

1917

108

Носильщик чемоданы внес.
Второй звонок; окно вагона.
В окне дымится паровоз.
Вдоль ожидающих колес
Стук молотка; кричит ворона.

Бывало, этой красотой
Не мог я вволю надышаться
И говорил мгновенью: стой.
А вот теперь совсем пустой,
И всё равно, куда ни мчаться.

1917

109

По неотесанным громадам
Брожу с тяжелым топором
И меряю последним взглядом
Их нисхожденье и подъем.

Стою на каменистом кряже.
Отсюда начинал я путь.
Уж я не тот, но мука та же
Томит и надрывает грудь.

А сзади занавес железный
С прощальным хохотом упал.
Топор мой покатился в бездны.
Похорони меня, провал!

1917

110

Что мне взор, Мария, твой,
Что мне нож разбойника?
Я везде ношу с собой
Двойника-покойника.

Солнце жизнями кипит,
Солнце всепобедное!
А покойник говорит:
Солнце дело вредное.

Страсть весенняя горит,
Май плывет торжественно,

А покойник говорит:
Это так естественно.

На плечо прильнув твое,
Жажду вылить душу я,
А покойник всё свое:
Что за малодушие.

Мир, волнуйся! Жизнь, лети!
А от рукомойника
Никуда мне не уйти.
Я двойник покойника.

1917

111

Так Вышний повелел хозяин,
Чтоб были по своим грехам
Социалистом первым Каин
И первым демократом Хам.

1917

112

Останься навсегда в моем альбоме.
В моем альбоме тихо, как в старом доме.

Смотри: другие группы и портреты
Тебя следят ревниво, ищут, где ты.

Но я с собой тебя поставлю рядом,
И будет с грудью грудь и взгляд со взглядом.

Упала крышка на моем альбоме.
Темно в моем альбоме, как в вечном доме.

1917

113. 27 ФЕВРАЛЯ

Дням, что Богом были скрыты,
Просиять пришла пора.
Опусти свои копыты,
Гордый конь Петра!

Царь над вещей крутизною
Устремлял в просторы взгляд
И указывал рукою
Прямо на Царьград.

Мчаться некуда нам ныне:
За обильные поля
Отдала простор пустыни
Русская земля.

Посреди стальных заводов
И фабричных городов,
Мимо сел и огородов
Бродит конь Петров.

Просит он овса и пойла,
Но не видно седока,
И чужой уводит в стойло
Дряхлого конька.

1917

114

Мой скромный памятник не мрамор
бельведерский,
Не бронза вечная, не медные столпы:
Надменный юноша глядит с улыбкой дерзкой
На ликование толпы.

Пусть весь я не умру, зато никто на свете
Не остановится пред статуей моей
И поздних варваров гражданственные дети
Не отнесут ее в музей.

Слух скаредный о ней носился недалеко
И замер жалобно в тот самый день, когда
Кровавый враг обрушился жестоко
На наши села и стада.

И долго буду я для многих ненавистен
Тем, что растерзанных знамен не опускал,
Что в век бесчисленных и лживых полуистин
Единой Истины искал.

Но всюду и всегда: на чердаке ль забытый
Или на городской бушующей тропе,
Не скроет идол мой улыбки ядовитой
И не поклонится толпе.

1917

115. ВАРЯГИ

Старший поднялся на лодке:
Сходни народом кипят,
Лица радушны и кротки,
Зол и нерадостен взгляд.

Средний, угрюмый как филин,
Руки сложил на груди.
Берег велик и обилен,
Только порядка не жди.

Младший, на острое падок,
Молвил, прищурясь на свет:
«Вот и дадим им порядок
Сразу на тысячу лет».

1917

116. СОН

Будто у Купера или Жюль Верна
Вижу себя я в пустыне горячей.
Пальмы, кустарники, коршун и серна.
Кто-то под белой палаткою плачет.

С красным туземцем я в прятки играю,
Бегаю с ним у неведомых мест.
Оба кричим и смеемся, но знаю:
Скоро меня он заколет и съест.

Долго ль носиться по солнечным долам?
Вот уж копье пронизало мне спину,
Черный котел над костром опрокинут,
Коршун кричит в нетерпенье веселом.

<1918?>

117

Видел я во сне
Сумрачный вокзал.
В розовом огне
И буфет и зал.

Пусто всё вокруг.
Мы с тобой одни.
Воротились вдруг
Молодые дни.

На груди цветы,
На столе вино.
Отвернулась ты
И глядишь в окно.

С грохотом в окне
Катится гора.
Говоришь ты мне:
«Подали. Пора».

1918

118

В ресницах солнце забродило,
И создает из пустоты
Зрачков таинственная сила
Павлиньи краски и цветы.

Гляжу, прищурясь: их разливы,
Лазурью радужно горят.
Они со мной и мною живы,
Другие их не повторят.

Так я творю, в цветах и птицах,
Весну неповторимых дней,
Так бродит в божеских ресницах
Стоцветный луг души моей.

1918

119

Какая в сердце радость,
Когда восходит май,
И пенит жизни сладость
Неисчерпаемой!

Щебечущего мая
Живые голоса
Крылатый звон качают,
Несут его в леса.

Я забываю горе,
Когда плывет ко мне
Зари багряной море,
Когда закат в огне.

1918

120

Оклеена бумагой голубою
Вот комната; фарфоровые луны
Прозрачные дрожат над пустотою.
Закрой глаза: от них лучи как струны.

Струится музыка игрой воздушной.
Хочу спросить: кто создал музыканта?
«Молчи, не смей!» — кричит старик
тщедушный,
И в пыльном зеркале я вижу Канта.

1918

121. ШОПЕНГАУЭР

Того, кто, обезумевши от слез,
Удар смертельный над собой занес,
Мой голос беспощадный успокоит.
Не счастию не веря, ни любви,
Я говорю несчастному: живи,
Живи лишь потому, что жить не стоит.

1918

122

Еще в небесном царстве рано.
Не пел петух у входа в рай.
Едва выходит из тумана
Христовой ризы алый край.

У розовеющего луга
Очнувшись, души молча ждут:
Супруга узнает супруга,
И дети хоровод ведут.

Зарею счастия объяты,
Предсмертный забывая страх,
Глядят туда, где встал Крылатый
С пылающим мечом в руках.

1918

123

Кобчик трепещет над синим оврагом.
На гору всадник взбирается шагом.

Белая хата, из камней ограда.
С гор зашумело веселое стадо.

Всадник склоненную видит головку.
Тихо с плеча он снимает винтовку.

Выстрел и облако белого дыма.
Кобчик на небе стоит недвижимо.

1918

124

Испортил ты себе загробную карьеру,
Пронзивши пулею свой женственный висок,
И бедная душа, утратившая веру,
Найдет в родном краю лишь камни да песок.

Просторы серые пустыни бесконечной,
Неумолимые, застывшие в тоске,
Откроют пред тобой весь ужас жизни вечной,
И не утихнет боль в простреленном виске.

1918

125

Стою один на башне у окна.
Тысячелетняя разбита рама.
Лазоревая зыблется волна.
Морской туман нежнее фимиама.

Над ней волокна белых облаков
Расходятся и тают на просторе.
Вот женщины из сказочных краев,
Вот юноши в воинственном уборе.

Вот белый лебедь шею изогнул
И полетел с непобедимым кликом.
Зубчатый замок в небе утонул.
Опять туман, и снова лик за ликом.

Вот крадется пятнистый леопард.
Прочь, призраки! О, где ты, день вчерашний?
И дует мне в лицо холодный март,
И страшно одному на ветхой башне.

1919

126

Уже с утра я смерть за чашкой чаю,
Как гостью постоянную, встречаю.

И, с ней беседуя за самоваром,
Гляжу на блюдечко с душистым паром.

Взгрустнется мне, и гостья успокоит.
Укажет книгу и тетрадь раскроет.

А вечером, лишь чай нальется свежий,
Вновь те же думы и беседы те же.

1919

127

Шлемы, щиты, алебарды,
Острые крестики пик.
В струны ударили барды.
Весел державный старик.

Красные, черные крестики.
В утреннем небе светло.
Плачет валет о невесте,
Облокотясь на седло.

В окна несется упрямо
Рев исступленного рога.
Скорбная молится дама,
Станут пажи у порога.

Рыцари едут попарно.
Вот загремели мосты.
Хлынул поток лучезарный
На золотые кресты.

1919

128

В тебе слились два лика. Первый лик
Дней пушкинских. Аи, чубук и та́хта,
Гвардейский строй, дуэли, гауптвахта
И Германа полубезумный вскрик.

Второй твой лик: в нем оживает шляхта,
Разгул войны, мазурок переклик,
Охота, сейм. И всё сгорает вмиг,
Встречая взор самоубийцы Крафта.

Ночь белая болезненно бледна.
Вот юный Достоевский у окна.
Пред ним в слезах Некрасов, Григорович.

Всё это пролетает надо мной
В часы, когда беседую с тобой,
Когда со мной сидишь ты, Комарович.

1919

129

— Я, дедушка, хочу покою.
— Ну, что ж, сынок: ищи, найдешь.
Ступай дорожкою лесною,
А там лугами повернешь.

Бреду по россыпи песчаной.
Кругом тяжелых елок строй.
За ними светлые поляны,
Где птицы тешатся игрой.

Бегут олени к водопою.
Последний поворот, и вот
Открылась к вечному покою,
Безбрежная, передо мною
Бесстрастная равнина вод.

1919

130–142. ИМПЕРАТОРСКИЙ ВЕНОК

1. ПЕТР ПЕРВЫЙ

Державный взмах двуглавого орла
На Запад мчит, и Русь затрепетала.
Кто твой отец, родная мать не знала,
И родина тебя не приняла.

Недаром кровь стрелецкая текла
И к праведному небу вопияла;
Какой Москва была, какою стала,
Куда твоя рука нас привела?

Дыша на Русь огнем и смрадной серой,
Калеча церковь и глумясь над верой,
Как Ноев сын, ты предков осмеял.

И перед вихрем адских наваждений
Отпрянул богоносец: он узнал
Предвестника последних откровений.

2. ЕКАТЕРИНА ПЕРВАЯ

Предвестника последних откровений
Взяла земля и выслала туман.
Вся та же боль неисцелимых ран,
Всё тот же мрачный и бескрылый гений.

Упав перед царицей на колени,
Безродный князь сугубит свой обман,
Насмешливо ударил барабан,
И гвардия впервые на арене.

Восходит иноземка на престол,
Дочь за царевича пирожник прочит,
Но брак иной грядущее пророчит.

Вновь над Кремлем взвивается орел,
Вновь оживает светлый рой видений,
Дни благодатные, святые тени.

3. ПЕТР ВТОРОЙ

Дни благодатные, святые тени.
Под величавый гул колоколов
Блеск византийских девственных орлов
Озолотил дворцов кремлевских сени.

Царь-отрок встал на красные ступени.
Внимая мудро голосу веков,
Святой Руси он воротить готов
Рай тишины и богомольной лени.

С боярами Царь едет на коне
И держит кречета, а даль в огне.
Зловещий бред томится над Москвою.

Встают стрельцов безглавые тела,
Сыноубийца дед с своей сестрою.
Бледнеют призраки, чернеет мгла.

4. АННА

Бледнеют призраки, чернеет мгла.
В ней ледяного дома тают крыши.
Императрица дремлет: тише, тише,
Но вот она проснулась и пошла.

Калмычка в жбане квасу поднесла,
Шуты пищат и возятся, как мыши.
Ждет Тредьяковский у оконной ниши,
И кабинет-министр раскрыл дела.

Перо скрипит, и слышится зевота.
Но в дальних залах замелькало что-то,
И медный профиль видят зеркала.

Густой парик рассыпался кудряво.
Да, для того, кому дана держава,
Презренна слава и смешна хула.

5. ИВАН ШЕСТОЙ

Презренна слава и смешна хула,
Но ты, дитя, что встретил ты на троне?
Рубин пылает кровью на короне,
Змея с шипеньем скипетр обвила.

Неумолима хищная стрела,
Не избежать безжалостной погони.
Всё яростней храпят и пышут кони,
Всё ближе карканье и свист крыла.

При зареве полярного сиянья
Отец и мать влачат ярмо изгнанья,
А твой приют — угрюмый каземат.

Под лбом разбитым кроток взор олений.
Но вспыхнет кровь твоя, когда набат
Пробьет свой час для новых поколений.

6. ЕЛИСАВЕТА

Пробьет свой час для новых поколений,
Но как забыть торжественный рассвет,
Треск барабанов и полозьев след,
Перед казармой крики, коней в пене?

Прочь смертный грех, прочь память об измене!
Нет, не причастна им Елисавет,
На смуглых ручках страшных пятен нет,
Довольно палачей и преступлений.

Балы шумели, Разумовский пел,
И распускалась жизнь роскошным летом.
Вот Ломоносов с университетом,

А Фридрих кличет смерть на груде тел,
Бросает меч и ждет конца мучений,
Вверяясь бегу роковых мгновений.

7. ПЕТР ТРЕТИЙ

Вверяясь бегу роковых мгновений,
Голштинский принц быть русским не хотел.
В отечество он мыслями летел,
В мир фрунтовых побед и поражений.

Вот почему искал он вдохновений
И так старательно смычком скрипел,
Великий совершитель малых дел,
Беспечный Марс игрушечных сражений.

Доверчивое, слабое дитя,
Живя легко и царствуя шутя,
Он с церковью затеял спор неравный.

И Клио беспристрастная сплела
Царю убогому венок бесславный.
Родной святыни Русь не предала.

8. ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ

Родной святыни Русь не предала.
Над ней шумит твой лавр, Екатерина,
Клубится розами любви долина,
Затягивает время удила.

Ты прелестью румяной расцвела,
Как несравненного Ватто картина,
Рука твоя столицу Константина,
Кавказ, Тавриду, Польшу потрясла.

Вольтера и Версаль пленив Наказом,
Танцуешь ты с гигантом одноглазым.
Сияют свечи, стонет менуэт.

В гостиной царедворцы обступили
Державина: о, царственный поэт,
О, вдохновенных снов живые были!

9. ПАВЕЛ

О, вдохновенных снов живые были!
Их воплотил венчанный командор.
Века провидит солнечный твой взор,
Вселенские в нем замыслы застыли:

Снести очаг республиканской гнили
И подписать масонам приговор.
Заслыша звон твоих суровых шпор,
Враги в плащах кинжалы затаили.

Далматик византийский на плечах
Первосвященника Ерусалима,
Союз церквей, союз Москвы и Рима!

Какой триумф готовился в веках!
Но мартовские иды снова всплыли,
Удары погребальные пробили.

10. АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ

Удары погребальные пробили,
Кровь брызнула на царский багрянец.
Поникла Русь, предчувствуя конец:
Самодержавный рыцарь спит в могиле.

И все на сына взоры обратили.
Увы, тяжел наследственный венец:
Два мученика — прадед и отец —
Скитаться Александра присудили.

Антихристовых ратей знамена,
Париж и Вена, лесть Карамзина,
Декабрьских дней грядущие тревоги.

Стремился он, не зная сам, куда,
Чтоб сказочно исчезнуть в Таганроге.
Но призрак жив и будет жить всегда.

11. НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Но призрак жив и будет жить всегда.
О Николай, порфиры ты достоин,
Непобедимый, непреклонный воин,
Страж-исполин державного гнезда.

В деснице меч, над головой звезда,
А строгий лик божественно-спокоен.
Кем хаос европейский перестроен?
Сжимает пасть дракону чья узда?

Как в этом царстве благостного мира
Окрепли кисть, резец, перо и лира,
Как ждал Царьград славянского царя!

Но черная опять проснулась сила
И, торжествуя смерть богатыря,
Чудовище кровавое завыло.

12. АЛЕКСАНДР ВТОРОЙ

Чудовище кровавое завыло,
Ему внимает Александр Второй.
Что сыну завещал отец-герой,
Всё малодушным позабыто было.

Свобода-ложь, как коршун, разорила
Столетиями выкованный строй.
Царь тешился двусмысленной игрой,
Пока под ним земля не заходила.

И поздно оглянулся он с тоской:
Враги несметны, как песок морской,
Друзья и слуги сражены обидой, —

Где бил фонтан — болотная вода.
Предатель-царь наказан Немезидой,
Подземный гул не стихнет никогда.

13. АЛЕКСАНДР ТРЕТИЙ

Подземный гул не стихнет никогда,
А кто сберег от взрыва храм народный?
Ты, Миротворец, витязь благородный,
С душой поэта чистой, как слюда.

Тебе кричали: нет, ты молвил: да,
Пора ладье умерить ход свободный,
И тихо Русь повел по глади водной
Меж рифов, скал, среди обломков льда.

Кто был тебя сильнее в целом мире?
Ты указал железный путь к Сибири,
Зарю твою пел вещий лебедь Фет.

Хозяйственную мощь земля копила,
Но в полночь опочил монарх-атлет,
И расцвела священная могила.

<1920?>

143–149. <АВРЕЛИЯ>

I

Аврелия, твое торжественное имя
Я в голосе веков как эхо узнаю.
Не Амалтеи ли таинственное вымя
Вскормило простоту твою?

Обоим нам сродни кормилица Зевеса.
Во мне козлиные ухватки и черты.
Я верный твой сатир, но в темной чаще леса
Меня не замечала ты.

О, спутанный клубок кудрей над тонкой бровью,
Медовым лепестком упавший на висок!
Алел вечерний сад, цветы пылали; кровью
Казался розовый песок.

Дыша ревнивою и вещею грозою,
С заката наступал неотвратимый час.
Нож страсти занесен над жертвенной козою,
Но ты не опустила глаз.

II

Аврелия читала.
На солнце пруд дрожал.
Павлинье опахало
Курчавый раб держал.
Распущенные сзади
И на плечах у ней
Чуть золотились пряди
Сверкающих кудрей.

Аврелия зевнула.
За садом крики жаб.
Одежды распахнула.
Их принял черный раб.
И долго отражалась
Красавица в пруде,
То в воду погружалась,
То плавала в воде.

Аврелия устала
И села вновь читать.
Павлинье опахало
Задвигалось опять.
Распущенные сзади
И на плечах у ней
Чуть золотятся пряди
Невысохших кудрей.

III

Она в саду дремала на ковре
И таяли в закатном янтаре
Ее черты.
А я, с волынкою, в кустах.
Кругом на голубых листах
Цветы.

Волынка завывает и поет,
Рыдает, замирает и зовет.
И на ковре
Аврелия приподнялась.
Ночная птица пронеслась
К заре.

Раскрылся жадный неподвижный взгляд.
Как хищно зубы мелкие блестят!
Она встает.
Она идет, она бежит.
Волынка радостью дрожит,
Поет.

IV

Секира времени, как смерть, неумолима.
Волчицы вскормленник, сдержи победный шаг:
Уже на головнях разрушенного Рима
Свои шатры раскинул враг.

Рукой безбожника поруганы святыни.
Скорей, прекрасная Аврелия, бежим
На узком корабле по голубой пучине:
Не возродится гордый Рим.

Ты помнишь ночь, пожар? Безумными прыжками
К заливу я тебя бесчувственную мчал,
А варвар бешеный, грозя, летел за нами
И задыхался и кричал.

В плече моем стрела, но я призвал Венеру:
Спаси рабов твоих, владычица любви!
Шатаясь, чуть живой, узнал свою пещеру
И пал на камни весь в крови.

V

На востоке морская полоска.
Под ногами гнездятся кусты.
Свод пещеры угрюмо и жестко
Виноградные кроют листы.

Осторожною козьей походкой
Ты скользишь по тропинкам глухим.
В темных складках туники короткой
Еще муксусом веет былым.

Ты приносишь мне древние свитки,
Свежий хлеб и корзину с вином,
И в рубиновом жарком потире
Старый мир отражается сном.

Море жизни, смиряясь, немеет
Пред зарей невозможных надежд.
Умирающим муксусом веет
От печальных и строгих одежд.

VI

Пей, Аврелия. Былое
Подымается в вине,
Точно царство водяное
В ясной глубине.

Вьются ласточки крикливо.
Ты забыта, я разбит.
Что ж молчишь ты сиротливо
У моих копыт.

Пей, Аврелия. Мечтами
Вновь былое оживим.
Снова встанет перед нами
Величавый Рим.

Полководец-триумфатор,
Грозный консул, жрец седой

И печальный император
   С гордою женой.

Кто ж из сладостного кубка
Льет нам горькую струю?
Мир трепещет, как голубка,
   Увидав зарю.

Но цветут многообразно
Эти губы и глаза,
Эта полная соблазна
   Женщина-коза.

VII

Ты говорила мне: от пепла и развалин
Уйдем в счастливые, блаженные леса.
Забудем родину, где человек печален
И равнодушны небеса.

Аврелия, с тех пор как ты меня узнала,
В тебе и родина и счастие мое:
Ведь с Капитолия давно уже упало
Победоносное копье.

Нет, Цезарь не придет, и в римлян я не верю:
На граждан мировых, зевая, смотрит мир,
Потомок Августа спешит навстречу зверю,
И стал патрицием сатир.

Мой Рим — Аврелия. О чем же мы тоскуем?
Мгновенно набежит последняя гроза,
И мне уста твои прощальным поцелуем
Закроют бледные глаза.

1924

150. НИНЕ МАНУХИНОЙ

Упорно кукольный твой дом тобой достроен,
Но жив любовник-враг в объятиях живых,
А я стал куклой сам — и жизни недостоин
Забывший умереть жених.

Моя невеста спит в загадочной могиле,
Я в келье, как в гробу, ее взяла земля.
Нам вещие часы обоим смерть пробили
Двадцать седьмого февраля.

Но самовар поет так нежно об отпетом,
В старинном домике так радостно мечте,
И сладко сознавать себя живым поэтом,
Не изменившим красоте.

Твой стих напомнил мне упругую мимозу,
Я в нем созвучия родные узнаю.
Прими ж сухой листок и брось живую розу
На лиру ветхую мою.

<1926>

151. Н. И. САДОВСКОЙ

Умчалась Муза самоварная
С ее холодным кипятком.
На сердце молодость угарная
Дымит последним угольком.

Как блудный сын на зов отеческий,
И я в одиннадцатый час
Вернулся к жизни человеческой,
А мертвый самовар угас.

И потускнел уюта бедного
Обманчиво-блестящий круг,
Когда на место друга медного
Явился настоящий друг.

1929

152

Назойливой гурьбой в уме теснятся предки.
Они, как маятник испорченных часов,
То медлят, то спешат; они как птицы
в клетке
Перекликаются десятком голосов.

Тот философствует, тот глупости городит.
С утра и до утра, всю жизнь, из года в год
Рой неотвязчивый молву свою заводит,
Стыдит, советует, припоминает, лжет.

О сердце, разгони крикливую ватагу,
Развей отпетых душ непогребенный сор,
Чтоб не смущал твою суровую отвагу
Их надоедливый, их беспокойный вздор.

1929

153

Над крышами клубится дым.
То встанет облаком седым,
То пологом повиснет синим,
Стремясь к лазоревым пустыням,
К просторам вечно молодым.

И днем и ночью там и тут
Кончаем мы жестокий труд
И в бездну падаем покорно.
Так падают сухие зерна
И под землей рожденья ждут.

По силам свет загробный: тот
Блеск солнца, как орел, снесет,
Тем звезд заискрится пучина,
Тому свеча, тому лучина,
А что тебе, безглазый крот?

Читать, раздумывать, мечтать,
Влюбляться, рифмами играть:
Всё это глупые привычки,
Часов и мыслей переклички,
Которых лучше бы не знать.

И снова плыл за клубом клуб,
А где-то падал новый труп,
И неожиданные мысли
Всплывали, колыхались, висли
И таяли, как дым из труб.

1929

154

Ты был моей любимой птицей,
И в годы детства тяжело
Над исторической страницей
Твое провеяло крыло.

Заря весной всходила рано
И ворон каркал мне с утра
Про времена царя Ивана,
Про императора Петра.

В полях, где василиск и колос
Смиренно молятся ветрам,
Провозглашал суровый голос
Прологи небывалых драм.

Но в пору грозного ненастья
Под вихрем бед, назло судьбе
Ты радостно твердил о счастьи
И призывал меня к борьбе.

1929

155

Карликов бесстыжих злобная порода
Из ущелий адских вызывает сны.
В этих снах томится полночь без восхода,
Смерть без воскресенья, осень без весны.

Всё они сгноили, всё испепелили:
Творчество и юность, счастье и семью.
Дряхлая отчизна тянется к могиле,
И родного лика я не узнаю.

Но не торжествуйте, злые лилипуты,
Что любовь иссякла и что жизнь пуста:
Это набегают новые минуты,
Это проступает вечный день Христа.

1929

156

«Никита Петрович Гиляров-Платонов
Тогда-то родился, скончался тогда-то».

Ни кроткой лампадки, ни благостных звонов.
Одно неизменно сиянье заката.
Пчела прозвенела над тихой могилой.
В траве одуванчик: живая лампадка.
Гляжу и тоскую о родине милой,
О бедной России, упавшей так гадко.

Вдруг слышу мольбы и глухие проклятья:
Пропившийся, хилый мальчишка-рабочий
К угасшей заре простирает объятья,
Грозит кулаком наступающей ночи.
И, бабьим, родным, вековечным приемом
Вцепившись в него, бормоча ему в ухо,
Пытается мать соблазнить его домом.

О чем ты хлопочешь и плачешь, старуха?
Давно у нас нет ни домов, ни законов,
Запрыгали звезды, и мир закачался.

«Никита Петрович Гиляров-Платонов
Родился тогда-то, тогда-то скончался».

1929

157. Е. П. БЕЗОБРАЗОВОЙ

Прости меня: виновен я,
Душа холодная моя
Оледенила грудь твою.
Ты полумертвую змею
Любовно в сердце приняла
И этой жертвы не снесла.

Но в строгой памяти моей
Ты расцветаешь всё нежней.
Едва небес вечерних ширь
На побледневший монастырь
Уронит розовый покров,
Я слышу в шелесте шагов
Твою походку: вот она.

Заря темнеет. Чуть видна
Могила дяди твоего.
На холм заброшенный его
Я положил твои цветы.
Прости меня. Прости и ты.

1929

158

Дух на земле — что пленная орлица.
Из клетки к небесам не воспарить.
Смирись, поэт: искусству есть граница,
И не ему над временем царить.

Есть многое, о чем мечтать не надо,
Чего ни спеть, ни выразить нельзя.
Вот почему скудна твоя награда,
Вот почему узка твоя стезя.

1929

159

В черном саване царевна.
Сердце мертвый уголек.
Отчего же взоры гневно
Обратились на восток?

Слышен голос птицы райской.
Зацвела весна в гробу.
Брови ласточкой китайской
Окрылатились на лбу.

Утихает ветер бурный
В блеске пламенной зари.
Сладко дрогнул рот пурпурный.
Говори же, говори.

1929

160

Узоры люстр, картины, зеркала
И томная, высокая Диана,
Пролог несочиненного романа
Эрот, смеясь, шептал нам из угла.

Расстались мы. Не знаю, чья стрела
Пчелой взвилась у девственного стана,
Пред кем на миг раскрывшаяся рана
Блаженством медоносным истекла...

Где ж эпилог романа? На портрете.
О, эти волосы и плечи эти,
Точеный профиль и змеиный взгляд!

В изгибах платья губы чуют снова
Томительно-душистый душный яд
И шепчут недосказанное слово.

<1929?>

161. ПУШКИН

Ты рассыпаешься на тысячи мгновений,
Созвучий, слов и дум.
Душе младенческой твой африканский гений
Опасен как самум.

Понятно, чьим огнем твой освящен треножник,
Когда в его дыму
Козлиным голосом хвалы поет безбожник
Кумиру твоему.

1929

162. ЛЕРМОНТОВ

Свалившись новогодним даром,
Как долго был ты для меня
Каким-то елочным гусаром
В дыму бенгальского огня.

И, точно пряник ядовитый,
В уме ребяческом моем
Гусар малиновый, расшитый
Живым отсвечивал огнем.

Ушли года, забылись речи,
Морщины мне изрыли лоб,
На елке загасили свечи,
И пряник превратился в гроб.

1925

163. ФЕТ

Ко мне ползли стихи твои,
И я следил их переливы,
Узоры пестрой чешуи
И прихотливые извивы.

Но, от небесного огня
Взорвавшись в сердце без ответа,
Как пепел, пали на меня
Стихи спаленного поэта.

Обуглен вдохновенный лик.
Лишь на стене со мною рядом
Угрюмо хмурится старик
С безжизненным, потухшим взглядом.

1929

164. МАРТЫНОВ

(Отрывок из поэмы «Лермонтов»)

Над кавказскими снегами
В час вечерней мглы
Величавыми кругами
Плавают орлы.
И, послушная приказу,
Подступает рать
К непокорному Кавказу —
Славу собирать.
Там среди блестящей свиты
Проскакал Шамиль.
Говорливые копыты
Подымают пыль.
В Пятигорске на бульваре
Вечер гонит всех,
Здесь в тени густой чинары
Музыка и смех.
Здесь, в остротах неусыпен,
Шумный круг друзей:
Глебов, Лермонтов, Столыпин,
Трубецкой, Манзей.
Все они в усах и баках,
В блеске эполет,

Франты штатские во фраках
Щурятся в лорнет.
Лишь один одет по-горски,
Как лихой черкес,
Он не ищет в Пятигорске
Общества повес.
Молодой майор Мартынов
Отличиться рад,
И недаром Вельяминов
Брал его в отряд.
По аулам, по завалам
Он помчится в бой,
Чтоб вернуться генералом
В ленте голубой.
Будет он воитель ярый,
Покоритель гор.
Замечтался под чинарой
Юноша-майор.
— Милый друг, постой немножко,
Подожди меня! —
Это Лермонтов-Маёшка
Прокричал с коня.
Но Мартынов сухо встретил
Дружеский привет,
Ничего он не ответил
Лермонтову, нет.
Заломил папаху с алым
Верхом и тесьмой,
Поиграл своим кинжалом
И пошел домой.

Декабрь 1930

165. <В АЛЬБОМ Е. АРХИППОВУ>

Ты на звезды глядишь, звезда моя; если бы был я
Небом, я множеством глаз вечно б глядел на тебя.

1932

166

В твоих стихах мое трепещет детство,
К счастливой родине припав на грудь.
Не ты ли мне поешь принять наследство
И на тропу заветную свернуть,
После развеять облака печали,
Что сердце мучили и волновали?

В твоих стихах краса и мощь природы:
Болотный пар, шептанье тростников,
Курган в степи, ручья живые воды,
Крик журавлей, вечерний гул жуков.
Но, красоте мгновенной гимн слагая,
Стремилась к вечности мечта благая.

В твоих стихах у девушки прелестной
С холста глядят ожившие черты.
Она тебе с улыбкою чудесной
Передала нездешние цветы.
И ты, певец, внимал склоняясь долу
Земной любви к небесному глаголу.

В твоих стихах отрадна жизни ноша:
Рокочут гусли, шутит Грозный Царь,
С царевной в челноке плывет Алеша,

Смеются витязи, поет косарь,
Над ними небо в солнечной лазури.
Здесь тишина, здесь нет грозы и бури.

1935

167

Я не застал тебя. Но с ранних лет
Цветут в душе Случевского творенья,
Непогрешимый суд «Землетрясенья»
И «Ларчика» трагический секрет.
Какой неуловимый вещий свет!
Какая ширь и дерзость вдохновенья!
Да, ты один. Тебе подобных нет.

1935

168

Пришлось мне встретить в разговоре
С приятелем перед окном
Весенний вечер за вином,
А там, на голубом просторе,
Парил торжественно орел.
И ровно год с тех пор прошел,
И повторилось всё, что было:
Весна, приятель и вино.
И так же видел я в окно,
Как птица гордая парила.

Тут разошелся, как туман,
Наивный времени обман,
И разум, к вечности приближен,
Внезапным опытом постиг,
Что стержень жизни вечной — миг,
Что он как солнце неподвижен
И как земля меняет лик.

1930

169

Помнишь, как на бале по блестящей зале
Мы с тобой скользили, млея от любви?
Музыка устала, потемнела зала,
И давно в могиле наше визави.

Нежно говорили с польками кадрили,
Томно вальс печальный отвечал: лечу!
Замирал, и мчался, и опять склонялся
Профиль идеальный к моему плечу.

Иногда мне снится: бал звенящий длится,
И в знакомой зале мы опять вдвоем.
Здравствуй, день минувший, радостно блеснувший
В невозвратной дали лучезарным сном!

1935

170

Они у короля в палатах
Как два приятеля живут:
Рассудок, разжиревший шут
В мишурных блесках и заплатах,
И Время, старый чародей:
Из рукавов одежды черной
Бросает он толпе придворной
Стада бумажных лебедей.

Но фокусник вполне приличен,
И шут в остротах ограничен:
Лишь только в зал войдет король,
Божественный и светлый Разум,
Они, пред ним склоняясь разом,
Смешную забывают роль.

1935

171

Она читала «Ревизора»,
Читала весело и скоро,
А Гоголь в рамке на стене
Молчал и слушал, как во сне.

Уж целый час она читала
И хохотала, хохотала.
Вдруг дуновенье из дверей,
И Гоголь повернулся к ней.

«Довольно мучить. Я сгораю.
Я бесконечно умираю.
Я вечно мучаюсь в огне.
О, помолитесь обо мне!»

1935

172

Времени тайный размах никому не известен,
Но я не верю, что был он всегда одинаков.
Время коварно, один только маятник честен,
Раб безусловный условно поставленных знаков.

Может быть, сутки то легче бегут, то тяжеле.
Ритма земли не дано ни узнать нам, ни смерить.
Вместе ведь с ней мы летим к ослепительной цели.
Стрелкам часов поневоле приходится верить.

Видно, крылатый Сатурн, когда был помоложе,
Юную Землю проворнее мчал небесами.
Но и Сатурн утомился. Помилуй нас, Боже,
Если Земля остановится вместе с часами.

1935

173

Июньский вечер; подо мной
Зарос орешником овраг.
Я останавливаю шаг.
Яснеет даль, слабеет зной.

Ручей бормочет. Глушь и дичь.
С обрыва видно далеко.
И вот уж, кажется, легко
Непостижимое постичь.

Июньский вечер, аромат
То земляники, то грибов.
Полет и крики ястебов.
Прозрачен розовый закат.
Оса запуталась в траве.
И вот уж пусто в голове,
И пустоте моей я рад.

Да разве можно жизнь постичь,
Когда рассудок слеп, как сыч?
Ему не внятен вечный миг.
Куда умней в лесу стоять,
И слушать ястребиный крик,
И ничего не понимать.

1935

174

Плывут и тают грядки облаков.
Закат, дорога и следы подков,
Далекий, нежный звон монастыря,
Усталый сокол на руке Царя,
Опричников веселый разговор.
Довольно, время: кончим этот спор.
Твою однообразную канву
Я принимаю: я по ней живу,

Но для чего цветущей жизни вязь
Узором мертвых дней переплетать?

1935

175

Над усадьбой занесенною
Осторожная луна.
По сугробам дымкой сонною
Расплывается она.

Кто там ждет-переминается
У высокого крыльца,
За калиткой дожидается,
Не слыхать ли бубенца?

Кто на снег из окон полосы
Голубого света льет,
Для кого знакомым голосом
Домовой в трубе поет?

Над затихшими усадьбами
Сосчитать ли, сколько раз
Разрешалось время свадьбами
В заповедный этот час!

Пело счастьем, зрело силами,
А теперь в сугробах спит.
Только вьюга над могилами
Заливается-свистит.

1935

176. В. И. САВИНОВОЙ

Спешу к последним я пределам,
А по пятам бегут за мной
Часы, пронизанные белым,
И дни, окутанные тьмой.

Остановясь у перекрестка
Перед кладбищем суеты,
Я вижу девочки-подростка
Неуловимые черты.

И память вмиг нарисовала
Навесы дремлющих ветвей.
Опять труба затрепетала,
Опять заплакал соловей.

Пускай их робкое лобзанье
Твои отринули уста:
Ты в глубине воспоминанья
Как жемчуг девственный чиста.

И в срок прощальных вдохновений
Я снова слышу над собой
Тебя, заоблачный мой гений,
Тебя, мой ангел голубой.

1935

177. АКВАРЕЛЬ

Твой взор — вечерняя истома.
Твой голос — нежная свирель.
Ты из семейного альбома
В прозрачных красках акварель.

На серо-матовой странице
Рисую тонкие черты:
Блестят плоды, сверкают птицы,
К озерам клонятся цветы.

Зачем на светлой акварели
Нельзя мне вечно быть с тобой,
Хотя бы в виде той газели
Иль этой чайки голубой?

<1935?>

178

Нет, этот сон не снится.
Как искуситель-змей,
Он вечно шевелится
На дне души моей.

В нем солнца взор лучистый,
В нем голубая тишь.
Над гладью золотистой
Сияющий камыш.

Забытые дороги,
Родные берега,
Волшебные чертоги,
Веселые луга.

Младенчество и детство
Волнуются в груди.
Былых веков наследство
Кивает мне: гляди.

И в мимолетных взорах
Оно пережито,
Как призраки, которых
Не воплотит никто.

1935

179

Мне часто снятся дикие леса.
Туманная сгущается завеса,
И слушают ночные небеса
Невнятные глухие голоса,
Дремотный стон и шепот в чаще леса.

Всё тот же лес, но небеса не те,
И я томлюсь под их спокойным взором,
Томлюсь в какой-то зрячей слепоте,
В какой-то развращенной наготе
Перед немым и праведным укором.

То мучится в безвыходном лесу
И стонет тварь, моя меньшая братья,
И вспоминает первых дней красу.
А с нею заодно и я несу
Заслуженное праотцем проклятье.

1935

180

Как весело под свист мятели
Проснуться ночью на постели.
Уютна сонная кроватка,
Тиха и радостна лампадка.
Блаженна сладкая истома.
Я в безопасности, я дома.
Пусть вьюга плачет и хохочет:
Ведь сердце ничего не хочет,
И разрешает все загадки
Улыбка ласковой лампадки.

Но страшно вдруг очнуться ночью
И встретить тишину воочью.
Она молчит неуловимо
И усмехается незримо.
Ей с ироническим приветом
Ответил месяц мертвым светом.
Всё допустимо, всё возможно,
И сердце молится тревожно.
Его мольба одна и та же:
Когда же, Господи, когда же?

1935

181

Во сне гигантский месяц видел я.
Беспечный, как дитя, как девочка, невинный
Он, добродушную насмешку затая,
Следил игру теней на площади пустынной.

И показалось мне, что месяц сделал знак,
И сразу стало всё как дважды два понятно:
Конечно, смерти нет, конечно, жизнь пустяк,
И человеком быть, в конце концов, приятно.

1935

182

Воспоминанья лгут. Наивен, кто им верит.
Как ворох векселей в окованном ларце
Мы в сердце их храним. Проценты время мерит
И вычисляет срок с улыбкой на лице.

Лукавый ростовщик! Тебе, пока под солнцем
Заимодавец-смерть удерживает нас,
За часом час мы шлем, червонец за червонцем,
И превращается в расписку каждый час.

Довольно, я устал. Увы, на дне шкатулки
Лишь груда серая просроченных бумаг.
Глухие улицы, немые переулки.
Расплата близится. Часы ночные гулки,
И страшен времени неумолимый шаг.

1935

183

Лети хоть миллионы лет
Среди созвездий и комет:
Полету всё конца не будет,

А эти мертвые миры
За мнимость жизненной игры
Творец простит и не осудит.

Таков ли путь земли? Она
За них страдать обречена,
Блестя слезой в зенице Бога,
Неугасимая звезда.
И с нею души ждут суда
У заповедного порога.

О Боже! В памяти твоей
От первых до последних дней
Они то сумрачно струятся,
То реют в блеске голубом,
Как мошки летние, столбом
В прозрачном воздухе роятся.

1935

184

Когда настанет Страшный суд
И люди с воплем побегут
В прощальный срок мгновений кратких
С густых полей и кровель шатких,
Оглушены трубой суда,
Кто встретит на пути тогда
Кружок ощипанного перья
И вспомнит древнее поверье,
Чей возмутится взор и дух,
Увидя этот пестрый пух?

Над ним бессмысленно истратил
Убийца свой предсмертный час.

Последним ястребом сейчас
Растерзан здесь последний дятел.

1935

185

Черные бесы один за другим
Долго кружились над ложем моим.
Крылья костлявые грудь мне терзали,
Когти железные сердце пронзали
И уносили в безвидную мглу
Божью святыню и Божью хвалу.

Гость белокрылый из райских полей
Пролил на раны вино и елей.
Сердце забилось нежней и любовней.
Стало оно благодатной часовней,
Где от вечерней до ранней зари
Радостный схимник поет тропари.

1935

186

Смешно тревожиться, что полночь наступила,
Когда вот-вот воспрянет новый день
И не посмеет призрачная тень
Скрыть от него, что будет, есть и было.

Ведь наша жизнь не линия, а круг,
И содержания весьма простого.
Ученее Коперника паук,
И соловей умнее Льва Толстого.

1935

187

Скажи, кто проходил вот этим перекрестком
Тому назад сто, двести, триста лет?
Не повторяется ль мгновенным отголоском
Неповторимого мгновения ответ?

Быть может, петиметр напудренный, при мушке,
Сокольник с кречетом, приказный в картузе,
А может быть, и сам Василий Львович Пушкин
Или сосед его с арапником в руке.

Купец, боярин, дьяк, монахиня, опричник
Сквозят и тянутся сквозь вековую мглу.
Отсюда богатырь, подняв наличник,
Пускал в татарина пернатую стрелу.

И строгий Бонапарт с подзорной трубкой,
Нахмурившись, следил отсюда первый дым.
Модистка, может быть, бежавшая с покупкой,
Остановилась здесь с гусаром молодым.

Былого призраки... Вы сердцу близки,
Но сосчитать вас в силах только Тот,
Кто наших дел, речей и помышлений списки
С начала времени на небесах ведет.

1935

188

У широкого дивана
Долговязые часы.
За часами таракана
Осторожные усы.
Скучно розовой невесте.
В небе звезд недвижный бег,
И дрожит на синей жести
Голубой далекий снег.

Вдруг звонок: она вскочила,
Покраснела, ожила,
Занавески опустила,
Заглянула в зеркала,
Поиграла с сонной кошкой,
Передвинула диван.
Под ее упругой ножкой
Звонко щелкнул таракан.

1935

189

Верни меня к истокам дней моих.
Я проклял путь соблазна и порока.
Многообразный мир вдали затих,
Лишь колокол взывает одиноко.

И в сердце разгорается заря
Сияньем невечернего светила.

О, вечная святыня алтаря,
О, сладкий дым церковного кадила!

Заря горит всё ярче и сильней.
Ночь умерла и пройдены мытарства.
Верни меня к истокам первых дней,
Введи меня в немеркнущее царство.

1935

190

Отчего всю ночь созвездья
Смотрят пристально на нас,
Будто чуют день возмездья
И угадывают час?

Звезды помнят Божье слово,
Ждут карающего дня,
Что сойдет на землю снова
В бурном пламени огня.

Каждая звезда — обитель.
В той обители твой дом,
Царства будущего житель,
Раб, оправданный судом.

Наступает срок возмездья,
День огня, конец борьбы,
И ревнивые созвездья
С нетерпеньем ждут трубы.

1935

191

Упорный, долгий звук охотничьего рога
Как голос совести приказывает строго
Блюсти и охранять огонь священный тот,
Что в сердце каждого охотника живет.
Сестра поэзии, суровая забава
Немврода мощного и страшного Исава,
Охота; ты цветешь в росистой мгле лугов,
В бодрящей тяжести высоких сапогов,
В ударе выстрела и в лае музыкальном.

Кусты орешника. Уже в овраге дальном
Собаки залились по следу русака,
И рощи ожили. Вдали блестит река,
А здесь ручей блестит и шепчет торопливо.
Два ворона снялись с песчаного обрыва.
Над сонною травой толкутся комары.
Таинственный союз с прохладою жары,
Полудни с вечером и вечера с закатом.

Чу, выстрел! За его торжественным раскатом,
Приветствуя зарю, утихли лес и лог,
И только за горой выводит трели рог.

1935

192

По ступеням театральным,
Обращая думы вспять,
Я к виденьям беспечальным
Ухожу опять.

Вновь восторженно страдаю
В пряном сумраке кулис,
Вновь, волнуясь, выжидаю
    Пышный бенефис.

Негодую вместе с Чацким
На соперника-глупца
И встречаю с принцем датским
    Тень его отца.

Вижу гордого испанца
И царя с жезлом в руке,
Рокового корсиканца
    В сером сюртуке.

Мир вам, радостные тени!
Обращая взоры вспять,
Театральные ступени
    Узнаю опять.

1935

193

Ты вязнешь в трясине, и страшно сознаться,
Что скоро тебя засосет глубина.
На что опереться и как приподняться,
Когда под ногой ни опоры, ни дна?

Мелькают вдали чьи-то белые крылья:
Быть может, твой друг тебе руку подаст?
Напрасны мечты, безнадежны усилья:
Друг первый изменит и первый предаст.

Крепись! Тебя враг благородный спасает.
С далекого берега сильной рукой
Он верную петлю в болото бросает
И криками будит предсмертный покой.

1941

194

Смеркается. Над дремлющей усадьбой
Морозный вечер стынет в синей мгле,
Но ярко окна светятся у папы.
Он в кресле перед письменным столом,
Темнобородый, с ясными глазами,
Сверяет летописные столбцы.
На полках книги древние, монеты,
В простенках ружья, птичьи чучела,
И на полу медвежья шкура. Папа
Меня ласкает, треплет по щеке.
Пробило восемь.
Отправляюсь к маме.
У ней пасьянс разложен при свечах
На столике, задумчивой улыбкой
Озарены спокойные глаза.
Перед иконой теплится лампадка.

— Ты был большой проказник и шалун.
Бывало, только няня отвернется,
Хвать со стола кувшин, и ну
Лить молоко по всем углам. Зато
Не знал капризов. Терпеливым был
Ко всякой боли. А таких на свете
Страданья ждут. Боюсь я за тебя.

1942

195

Ночь зимняя не спит, припав к окну столовой
И глядя мне в лицо. Какой угарный жар
От лампы пламенной, от печки изразцовой,
Как радостно шумит и блещет самовар.

И папа, сев за чай в своем кафтане теплом,
«Серебряного» том не торопясь раскрыл.
Ночь стонет жалобно и жмется к мерзлым стеклам,
Но треск веселых дров ее рыданья скрыл.

Про доблесть древнюю читает милый голос,
А мамин самовар приветливо поет
О том, что в эту ночь прозябнет новый колос,
Что будет урожай расти из года в год.

1942

196

Жизни твоей восхитительный сон
Детская память навек сохранила.
Что же так тянет к тебе, Робинзон,
В чем твоя тайная прелесть и сила?

В белый наш зал ухожу я с тобой.
К пальмам и кактусам взор устремляя,
Слышу вдали океана прибой,
Бег антилопы и крик попугая.

Мало отрады от пестрых картин:
Небо изменчиво, море тревожно.

Да, но на острове был ты один,
В этом тебе позавидовать можно.

1942

197

Тяжелый том классических страниц.
Каким предчувствием взыграло сердце,
Когда для их правдивых небылиц
Открылась в нем таинственная дверца.

И породнились с русской стариной
Создания Гомера и Шекспира,
И властно загремела надо мной
Чужих поэтов царственная лира.

Пускай забит балкон, пускай закат
Разводит по снегам узор павлиний:
На сердце у меня ручьи звенят,
Порхают бабочки, цветут пустыни.

1942

198

Крестная этой весной привезла
Книгу о Роберте, Генрихе, Риде,
И о Гризельде, что верной была,
И о могучем красавце Зигфриде.

Гребень дракона и грива коня,
Кубки, мечи, ожерелья, тарелки.

Фауста жребий увлек бы меня,
Если бы не было дьявольской сделки.

Долгие дни незаметно прошли.
С книгой бегу в золотую аллею.
Падают листья, шумят журавли,
Поздние мухи кусают мне шею.

1942

199

Тридцатое число. Ноябрь уж исчезает,
И девяностый год готовится пройти,
А из Москвы журнал внезапно приезжает
В наш деревенский дом по санному пути.

И я схватил его, урок французский бросив.
Кружилась за окном серебряная пыль.
Вот гордый Николай и юный Франц-Иосиф,
Вот сказка Данченки, вот Салиаса быль.

О, как взволнован я «Сентябрьской розой» Фета!
Волшебные стихи читает мама вслух.
Лампадка, тишина, смесь сумрака и света,
За голубым стеклом алмазный вьется пух.

1942

200–212. <МОИ УЧИТЕЛЯ>

1

Пушистая белеет борода,
Сияет острый взор проникновенно-мирный,
Губа прижата пальцем, и всегда
Застегнут наглухо сюртук мундирный.

К обедне в праздник лента и звезда,
Домовой церкви блеск и голос клирный.
Ряды учеников. О, райский миг, когда
За херувимской дым потянется эфирный!

— Гаврил Гаврилыч, почему семи-
угольник пишут с восьмеричным «и»?
Ты, пальцем ус прикрыв, ответствовал мне:
— Дельно.

Директор-умница, директор-педагог,
Порядок ты любил, порядок ты берег.
И час его конца сразил тебя смертельно.

2

Ты был инспектор с головы до ног,
Осанистый, седой, высокий, в синем фраке.
Суровый окрик твой и дружеский упрек
Мы слушали, устав от беготни и драки.

Мне смутно помнится немецкий твой урок:
Bin zides Hundchen, повесть о собаке.
Ты в карцер запирал меня на долгий срок
И в стихотворчестве беспутства видел знаки.

Спокойно-величав, в час шумных перемен
Ловил проказников и ставил их у стен,
Но отчего, скажи, глаза твои так кроткиʔ

Ах, в доме у тебя, что год, то новый гроб.
Любимый сын пускает пулю в лоб,
Жена и дочери во власти злой чахотки.

3

Вот, круглолиц, румян и черноглаз,
С приветливой улыбкой, в светлой рясе,
Ты быстро входишь в наш уютный класс.
Какая тишина, какой порядок в классе!

И длится увлекательный рассказ
О снах Иосифа, о блудном свинопасе,
О том, как Моисей народ в пустыне спас,
О муках на кресте и о девятом часе.

Я помню институтский юбилей,
С гирляндами венков, цветов и вензелей.
Ты соприсутствовал смиренно двум владыкам.

Был архирейский хор для нашей церкви дан,
И слушала толпа блестящая дворян,
Как лик торжественно перекликался с ликом.

4

Едва окончив университет,
В наш Институт ты был назначен сразу.
И скромно прослужил здесь тридцать лет,
Не выехав из Нижнего ни разу.

Умеренный и мудрый Архимед,
Ни фальши не причастный, ни экстазу,
Как математик, презирал ты фразу,
Любил охоту, был в душе поэт.

Всегда благожелательный и чинный,
Длинноволосый, с бородою длинной,
Ты бремя жизни терпеливо нес.

Я вижу, как проходишь ты Откосом,
В очках, прямой, костлявый, с длинным носом,
А за тобой бежит лягавый пес.

5

Ни росту, ни манер ты не имел,
Словесник грузный в вицмундире старом,
Лишь вечно раздражался и кипел
И был за это прозван Самоваром.

Составить хрестоматию сумел,
А собственную жизнь развеял паром.
Из-под очков пылали глазки жаром,
И носик, разгораясь, пламенел.

Переходя к запою от запоя,
Ты забывал, что в водке нет покоя,
Что граф Капнист взыскателен и крут.

Тебя он в силу министерских правил
В уездном городке служить заставил.
Там на кладбище ты нашел приют.

6

Ты крепок, точно стиснутый кулак,
Красавец с темно-рыжей бородою.
Нейдет тебе учительский твой фрак,
Не ладит галстук с грудью молодою.

— В Китае рис, в Бразилии табак...
Австралия окружена водою...
Набег Батыя нам грозил бедою...
Осада Трои... Рюрик был варяг...

Любил ты освежиться лишней кружкой,
Беспечный хмель за дружеской пирушкой
Румянил грубоватые черты.

Но педагогу не проходят даром
Занятия, приличные гусарам,
И с Институтом распрощался ты.

7

Полузадумчиво, медлительно, сурово
По классу носишь ты объемистый живот.
Тяжелый профиль, властный поворот,
Покрой солидный фрака голубого.

Что значит βακτηρία? — Палка. Вот
Бактерия в буквальном смысле слова...
Διδάσκαλος καὶ παῖς. Переводите снова...
Διδάσκαλος καὶ παῖς. Читайте перевод.

Раз кто-то вытащил подушку из сиденья,
И провалился ты. Преступник не посмел
Сознаться. Я за всех, как жертва подозренья,
День целый в карцере безвинно просидел.

И вот кричу теперь в пространство без ответа:
— Я не виновен, нет! Не я устроил это!

8

Бородка черная и розовый румянец,
Прищурены зрачки голубоватых глаз.
Ты с кафедры, смеясь, оглядываешь нас,
Мы за тетрадями проворно лезем в ранец.

Неясен смысл твоих латинских фраз,
Их сложный синтаксис, классический их глянец,
Неясно, кто ты сам, словак или германец.
Mehercule... Deabus... Nefas-fas...

Во франко-прусскую войну ты был уланом
И весело трубил. В атаку за тобой
Неслись ряды улан по нивам и полянам,
С французской конницей завязывая бой.

И в звуках твоего ликующего смеха
Мне чудится трубы раскатистое эхо.

9

Швейцарский гражданин, ты в Нижнем основался.
Экзамена на чин, раз пять передержав,
Не мог преодолеть. Без чина и без прав
Вольнонаемным ты учителем остался.

Являя сумрачный, неумолимый нрав,
За шалости карал и злобно издевался,
Когда я невзначай в спряжениях сбивался,
С истрепанным Марго перед тобою став.

Хранишь ты бережно обычай свой французский:
К обеду свежий сыр, каштаны и салат,
Лафит или бордо за утренней закуской.
Приплюснут красный нос, усы торчат.

Ты отвращение природное к французам
Во мне укоренил. Хвала тебе и музам!

10

Ты приносил, бывало, на урок
То пожелтелые, из гипса, руки,

То, в ровных прописях красивых строк,
Замысловатые фиты и буки.

А впрочем, у тебя не знали скуки:
Кто Купера под партой приберег,
Кто Гауфа. Там, сбросив гнет науки,
Играют в перышки. Звонок, звонок!

Как ветхое лицо твое поблекло,
Как старческих очков чернеют стекла!
Я помню осень; позднею порой
Бредешь ты тихо улицей сырой.
Туманятся седые тротуары.
Куда ты шел, такой больной и старый?

11

Молодцевато стянутый сюртук,
Высокий рост, усы и вид парадный.
Гимнастика наука из наук:
Ты в этом для меня пример наглядный.

— Мое почтение!.. Прыжок изрядный...
Сердечное спасибо... Полный круг!
Направо шагом марш! — И зал прохладный
Нагрелся вмиг от наших ног и рук.

Три раза в год здесь музыка грохочет.
Толпа гостей танцует и хохочет.
Вот с генеральской дочкой адъютант,

Вот с предводительшей губернский франт.
Мы, маленькие, тоже не скучаем:
Нас угощают фруктами и чаем.

12

Спокон веков ты прозывался Стриж,
Хоть на стрижа не походил нимало:
Из-под бровей высматривала мышь,
Щетиной плоской борода лежала.

Гуляя от учительской до зала,
Ты водворял в шумящих классах тишь
И без обеда нас сажал, бывало:
— Останься-ка... Уж больно ты шалишь...

Ты жил и умер вместе с Институтом,
Но, отдаваясь роковым минутам,
Не вспомнил ли в прорывах смертной мглы
Зал, коридор, обеды и балы?
Не вспыхнул ли на сердце с новой силой
Родного Института призрак милый?

13

Как закоптели сумрачные стены,
Как неуютно в дымных коридорах.
Зал театральный кажется сараем.
В нем тускло светят газовые лампы.
Утихнул рев военного оркестра.
В партере кашляют, в райке топочут.

Суфлер уже ворочается в будке,
И грязный занавес, шурша, поднялся.

Вот «Маскарад». Арбенина играет
Заезжий пожилой усатый трагик.
Колода карт летит в лицо гусару,
И сыплются семерки и девятки.
Вот «Горе от ума» с дивертисментом.
В «Madame Sans-Gêne» двойник Наполеона,
Красиво хмурясь, кончиками пальцев
Берется царственно то за кофейник,
То за ушко плебейки-герцогини.

Привет вам, отыгравшие актеры,
Деборн-кокетка, Агарев-любовник,
Простак Демюр и комик Короткевич,
Я не забуду вас. Вы вдохновеньем
Игры бесхитростной сердца пленяли
И вызывали сладостные слезы.

1942

213–217. <ИЗ ПСАЛТИРИ>

Псалом 1

Блажен, кто к нечестивцам не входил,
И с грешниками дружбы не водил,
И со злодеем не садился,

Но волею закон Всевышнего следил
И день и ночь ему учился.
Как дерево, цветущее у вод,
Листву свою хранит и в срок приносит плод,
Так он во всех делах успеет.
Не тот путь грешников, не тот:
Они как пыль, и ветер их развеет.
Вот почему не вынести им суд:
Они в собранье правых не войдут,
Господь путь верных разумеет,
А нечестивые падут.

Псалом 14

Господи, кто поселится в чертоге Твоем,
Кто будет жить у Тебя на Сионе святом?
Тот, чьи невинны труды, кто греха не творит,
Правду от чистого сердца всегда говорит,
Речью коварной не делает ближнему зла
И не порочит ни мысли его, ни дела.
Им боголюбец прославлен, безбожник презрен.
Клятву он честно хранит и не знает измен,
В рост серебра своего никому не дает
И незаконных подарков в суде не берет.
Так поступай: не споткнешься вовек.

Псалом 44

От сердца я излил благое слово.
Чтоб возвестить Царю мои творенья,
Язык я уподобил скорописцу.
Нет красотою равного Тебе.
Уста Твои — источник благодати,
Благословен Ты Господом вовеки.
Могучий, препоясанный мечом,

В сиянии красы великолепной,
Исполнись мужества, восстань и властвуй
Во имя мира, истины и правды,
И поведет Тебя Твоя десница.
Шипами стрел пронзаешь Ты, могучий,
Сердца врагов. Все пред Тобой падут.
Престол Твой, Боже, ныне и до века.
Жезл правоты — жезл царства Твоего.
Любя закон, Ты ненавидишь грех.
Зато Твой Бог Тебя помазал, Боже,
На радость сопричастникам Твоим.
Алой, смолу и смирну мы вдыхаем
От риз Твоих, приветствуем Тебя
Через решетки из слоновой кости.
Тебя встречают дочери царей.
Царица об руку с Тобой, в одеждах
Цветных и позолоченных. Внимай,
О, дочь моя, склони и слух и взоры,
Забудь народ свой и отцовский дом.
И красота твоя желанна будет
Царю-владыке. Поклонись ему.
Тебе дары дочь Тира преподносит,
Тебе хвалу вельможи воспоют.
Вся слава дочери царевой в сердце
Под золотым шитьем ее одежд.
И девы приведутся вслед за нею,
К Тебе ее подруги приведутся.
Весельем встретит их чертог Царя.
Твоих отцов сыны Твои заменят.
Князьями всей земли Ты их поставишь.
А я везде Твое восславлю имя,
И будут ублажать Тебя народы
Во век веков.

Псалом 126

Когда не Богом дом воздвигнут, даром
Строители трудились; если город
Хранит не Бог, напрасно страж не спит.
Зачем же вы встаете до утра,
Ночь просидев бессонную? Тоскливо
Вкушаете вы хлеб, когда Господь
Дарует сон возлюбленным Своим.
Вот Божие наследие — сыны,
Награда для утробы плодоносной.
Колчану стрел в руке у исполина
Подобятся изгнанников сыны.
И тот блажен, кто чрез них исполнит
Желание свое: не посрамятся
Они, с врагом заспорив у ворот.

Псалом 132

Что хорошо и прекрасно? — сожительство
дружное братьев.
Миру подобно оно, что, стекая с маститых кудрей,
Капает медленно вдоль бороды, бороды Аарона
И застывает потом на окраинах ризы его,
Или росе Аермонской, упавшей на горы Сиона,
Где благодатную жизнь Бог утвердил навсегда.

1944

218–219. ИЗ АВЕТИКА ИСААКЯНА

1

Бесконечностью песен весна зацвела,
И предела для солнечной радости нет:
Будто век на поля не спускалася мгла,
Будто лес не бывал цветом смерти одет.

Разметавшись, спокойное море легло,
Глаз широко раскрытых сияет лазурь:
Будто в бездну суда не оно унесло,
Не оно бушевало свирепостью бурь.

Дети с песнями радостно пляшут, кружась,
И весеннею зеленью дышат поля:
Будто кровь на земле никогда не лилась,
Будто слез и вражды не знавала земля.

1945

2. СОКРАТ

Мудрого Сократа к смерти злой
Трибунал афинский присудил:
Бичевал мудрец неправый строй
И к порокам беспощаден был.

Им коварный отменен завет.
Высоко над миром поднял он
Силу мысли, вечной правды свет,
Слово совести, любви закон.

Вот в темнице смертного конца
Скованный Сократ спокойно ждет,
И к себе известного певца
Он по делу важному зовет.

Перед ним прославленный певец.
«Мой привет Сократу, — он сказал, —
Чем я это заслужил, мудрец,
Что меня ты вспомнил и позвал?»

«Милый брат, прошу тебя помочь
Мне законы музыки познать,
Краток век, долга незнанья ночь,
Не хочу я случай упускать».

«Но ведь ты... О друг великий мой...»
И продолжить речь певец не смел.
«Да, но всё же в час последний свой
Я б искусства смысл постичь хотел».

И когда благоговейно был
Истолкован музыки закон,
Дух Сократа радостно парил,
Мудростью бессмертной озарен.

1945

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стихотворения шуточные и «на случай» из семейного архива

220. ПАПЕ НА СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕ

Ты председатель, я же член,
В одной Комиссии мы были,
Но в тишине архивных дел
Теперь другие люди всплыли,

Вот почему твой юбилей
Со всем Нижегородским краем,
Как праздник всей семьи своей,
В кругу домашнем мы встречаем,

И если б вопреки судьбе
Былое снова стало близким,
В нем улыбнулись бы тебе
Храмцовский, Мельников, Гацисский,

Сам Минин, верно бы, назвал
Тебя своим любимым внуком,
Ведь ты печатно доказал,
Что Минин не был Сухоруком,

Писцовых и платежных книг
Успел ты разобрать немало,
И в древних грамотах постиг
Концы, середки и начало,

Как мудро ты одолевал
Андрея Павлыча коварство,
Парийскому дорогу дал,
Призвал Романова на царство.

Прими же общий наш привет!
Лишь пожеланье надо вставить,
Чтоб через двадцать пять мы лет
Опять могли тебя поздравить.

Август 1925

221. МУШКЕ

Милой женственностью дышит
Прелесть трех сестер моих,
Флора кудри их колышет,
Сыплет розами на них.

Ласковы, скромны, стыдливы...
Вот они в красе своей
Наклонились, точно ивы,
Над потоком быстрых дней.

Их очаг семейный тлеет
Благодатно с давних пор.
Кто в неверности посмеет
Упрекнуть моих сестер?!

Я гляжу, как ангел падший,
С умилением на них,

И ко дню рожденья младшей
Посвящаю мерный стих.

Подросла ты, поднимаясь
Диким, тонким лепестком.
Расцветала, распускаясь
Пышным маленьким цветком.

Ты хозяйственна, как пчелка,
Сладостный уют любя.
Быстро бегает иголка
В тонких пальцах у тебя.

Вот вечернею порою
Ты садишься за рояль, —
И за тихою игрою
Мне прошедшего не жаль.

Вот, передник надевая,
Изучаешь тайну яств.
Это тайна золотая
Драгоценнее богатств.

Но и в кухне, подле крана,
Как всегда, изящна ты.
Вспоминаются Медяна,
Предков гордые черты.

Профиль правильный и ровный,
Маленькой ноги подъем
Пусть останутся любовно
Навсегда в стихе моем.

1925

222. В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАДИ

В заветный светлый день рожденья
При новой ласковой луне
Я скромное стихотворенье
Любимой приношу жене.

Создать стишок сентиментальный
Для многих дам немудрено.
Но быть хозяйкой гениальной
Не всякой женщине дано.

Пусть наше радостное счастье
Весенний ангел сторожит,
Пускай угрюмое несчастье
От нашей хижины бежит.

И я, на жизнь с улыбкой глядя
И не страшась ее лица,
Лишь одного желаю, Надя,
Быть с Вами вместе до конца.

1931

223. БЕРНАРДУ ШОУ

Сэр, мне грустно чрезвычайно,
Что в один из Ваших дней
Не попали Вы случайно
В монастырский наш музей.

Вы б увидели, как время
Ход усиливает свой,
Как растет живое семя
На равнине гробовой.

Как над мертвыми костями
Веселится детвора,
Ожидая вместе с нами
Радость светлого утра.

Но в огромном этом зданье
Лишь одно нехорошо,
И на это Вы вниманье
Обратите, Мистер Шоу.

За оградою музея
Третий год живет поэт.
Он, здоровья не жалея,
Проработал тридцать лет.

Дан ему чулан убогий,
Где ни печки, ни тепла.
И поэт больной, безногий
Просит теплого угла.

«Для тепла найдется вата.
Керосинку можно жечь!» —
Вот от здешнего собрата
Он какую слышит речь.

Право, было б интересно
Вам чуланчик этот снять.

И да будет Вам известно,
Что всего в нем метров пять.

Поучительно для мира
Заглянуть сюда зимой.
Тридцать пятая квартира,
Корпус, кажется, седьмой.

1931

224. ЛЕБЕДЕВУ-КУМАЧУ

Тов. Лебедев-Кумач, Вы мой избранник
И в то же время мой товарищ по перу.
Послушайте, что Вам расскажет бедный
странник,
Гость обездоленный на жизненном пиру.

Пишу я сорок лет. Мои произведенья —
Четырнадцать весьма разнообразных книг.
Рассказы, повести, статьи, стихотворенья.
Мне скоро шестьдесят, и я уже старик.

Был с Блоком, с Брюсовым союз мой неизменен,
Я Маяковского знал юным удальцом.
Еще в «Товарище» меня печатал Ленин,
Отец которого дружил с моим отцом.

Лет двадцать я без ног, но, несмотря на это,
Три года на дому я лекции читал.
Профессор красный я, а в звании поэта
Союз писателей давно меня признал.

В последние года в постель пришлось свалиться:
Смерть хмурая ко мне так близко подошла,
Но ожил и пишу. И как же не трудиться,
Когда над головой полет орла,

Когда истории и миру предписала
Страна великая незыблемый закон,
Когда Америка соседкой нашей стала,
Покорена тайга и полюс побежден.

Но Пушкин говорит, что для поэта нужен
(Как, впрочем, и для всех трудящихся людей)
Хороший сон, затем обильный добрый ужин.
Литфонд же мне дает три сотенки рублей.

Три сотни на меня и на жену больную.
Пора о пенсии решиться хлопотать.
Просил на лето я хоть сумму небольшую,
Ее «товарищи» всё забывают дать.

Так помогите мне подняться снова к свету,
Певец отзывчивый на радость и тоску.
Прошу немного я: спокойствия поэту,
Обеда скромного больному старику.

1940

РАССКАЗЫ
В СТИХАХ

225. КРОВЬ

Штаб-ротмистр Николай Тугарин
Безвыездно в деревне жил.
Не суетился, не служил,
Суровый, смуглый, как татарин,
Он только псарней дорожил
И слыл борзятником. Когда-то,
Еще гусаром, в старину,
Похитил юную княжну,
Невесту собственного брата,
И превратил ее в жену.
С тех пор десятую весну
Они в усадьбе неразлучно
Живут вдвоем. Ему не скучно
Травить лисиц и рысаков,
Она привыкла к тихой доле:
Мечтать, прогуливаться в поле,
Зимою слушать вой волков,
Тревожить вальсом фортепианы
И при свечах читать романы.
Должно быть, он ее любил
За ясный взор и голос хрупкий.
Она казалася голубкой,
Он черным вороном. Но был
Их брак случайный неудачен:
Супругам не дал Бог детей.
Не оттого ль порою с ней
Бывал Тугарин сух и мрачен?

Закоренелый нелюдим
Держался неизменных правил:
Не выходить к гостям своим

И самому не ездить к ним.
Лишь младший брат, Тугарин Павел,
Общительный, езжавший в свет
И обучавшийся в Берлине,
Был другом братцу и кузине.
Изящен, строен, как поэт,
Всегда изысканно одет,
Причесан, как артист, небрежно,
Он распевал романсы нежно,
Пейзажи бойко рисовал
И даже повести писал.

Блюдя обычай ежедневный,
Однажды с Анною Сергевной
В гостиной он в пикет играл.
Камин осенний догорал,
В столовой ужин накрывали.
Хозяин с поля обещал
Вернуться. В доме ожидали
Его приезда каждый миг.

Подковы шлепают. Движенье.
Двор зашумел. Еще мгновенье.
Тревожный говор, чей-то крик.
Как смеют хлопать так дверями!
Вот, за тяжелыми шагами
Псарей и завываньем псов
Нестройный ропот голосов
Ворвался в дом. — Несчастье... барин...

Охотясь в этот самый день,
Был сброшен лошадью Тугарин
И голову разбил о пень.

Весть роковую услыхала
Анна Сергевна, но она
Не пошатнулась, не упала,
А только сделалась бледна.
Лишь к вечеру ей дурно стало,
И дворня тотчас зашептала,
Что барыня родить должна.

В переполохе верный Павел
Свою кузину не оставил
И, с честью брата схоронив,
К ней каждый день езжал обедать.
То надо старосту проведать,
То поспешить с запашкой нив,
То дачу посмотреть лесную,
То просто навестить больную.
Так в хлопотах зима текла,
И вот, когда пора пришла
В берлоге выспаться медведю,
Под постные колокола
Анна Сергевна родила
В тяжелых муках сына Федю.

Весь пост она была плоха.
Боялись: долго ль до греха?
Не знал покою бедный Павел
И сам кормилицу приставил
К новорожденному. Она
Звалася мамка Палагея —
Дочь престарелого лакея
И камердинера жена.
Бела, красива и сильна.

Весь день она дитя качала,
К румяной груди приложив,
Наутро ласками встречала
И только вечером кончала
Тот усыпительный мотив,
Что слышен в избах и доселе.

Тянулось время. Дни летели.
Ребенок быстро подрастал.
Француз его лелеять стал
И «Федру» разбирать заставил.
Уроки русского давал
Племяннику сам дядя Павел,
Карамзина ему читал,
Склады и цифры толковал
И прописи в тетради правил.
Нет спору: Федя был не глуп.
Ученье он легко усвоил,
Языки знал, задачи строил,
И не капризен, и не груб.
Но дядю Павла беспокоил
Его пустой, бесцельный взгляд.
На всё смотрел он исподлобья.
Какие дети так глядят?
В нем нет чего-то, нет подобья
Того, что не могли назвать
Ни дядя, ни француз, ни мать.
Все трое этим тяготились.
Все трое на одном сходились,
Что в мальчике чего-то нет.

И так двенадцать долгих лет
Они над Федей тщетно бились.

Бывало, выйдет он на двор
И, позабыв, что он Тугарин,
Помещик будущий и барин,
Затеет с кучерами спор.
То ходит крадучись, как вор,
То, будто кипятком ошпарен,
Поскачет, влезет на забор.
Француз кричит: «A quel malheur!»
Не спорил Федя. За французом
Он шел послушно на урок,
Скосив глаза и губы вбок
И выпятив живот арбузам.
«Poète, artiste, ah, ventriloque!» —
Твердил француз, смеясь сердито.

— Cousin, я, право... я убита;
В кого таким он выйти мог?
— Ma chère Annette, даю вам слово,
Клянусь: с летами всё пройдет.
Parole d'honneur. Мы через год
Увидим мальчика иного.
Манеры эти навсегда
Исчезнут в школе петербургской,
Что учреждает Ольденбургский.
Свезу я Феденьку туда
И все дела устрою лично.
— Merci cousin, но, право, я...
— Нет, нет, ведь мы одна семья.
Во всем помогут нам отлично
Мои старинные друзья.

И вот он с Федей и французом
В суровом городе Петра.

Воскреснуть вновь пришла пора
Забытым связям и союзам
Годов минувших. То с утра
Скитался дядя по столице:
К министру Дашкову, к сестрице,
С визитом к графу Баккара,
На бал к великосветской львице,
То у себя гостей встречал:
Являлся Вигель с табакеркой,
И Глинка за вином кричал,
И Лермонтов в углу скучал,
Красуясь пурпурной венгеркой.

А Федя правоведом стал.

Нельзя сказать, чтоб не любили
Федюшу в классе, но шесть лет
Его ничуть не изменили.
Он был исправный правовед,
Всегда прилежен и послушен,
Но как-то странно равнодушен
И ко всему на свете сух.
Казалось, юной жизни дух
Покинул плоть его с рожденья.

По праздникам и воскресеньям
У важной тетки он бывал,
Съедал обед, пил чай с вареньем
И незаметно исчезал.
Когда товарищи кутили,
И он шампанское глотал,
Но молча шарики катал,
Покуда тосты говорили.
Кривился рот, глаза косили.

Когда к ним в школу приезжал
Высокий гость в плаще и каске,
Он не метался, не дрожал,
И вслед торжественной коляске
С победным криком не бежал.
Его театр Александринский
Не чаровал своей игрой,
Был чужд ему Фингал-герой,
Не восхищал его Марлинский,
Не радовал гвардейский строй.

Весной, приехавши на лето
К себе в деревню, он скучал
И равнодушно отвечал
Объятьям и словам привета.
Не отводила мать лорнета,
И дядя головой качал.

— Cher Paul, мне, право, странно это:
В кого он выйти мог такой?
— Ma chère cousine, я сам не знаю.
Вам больно? Да, я понимаю,
Но наступает век иной.
Что делать: чужд Федюша музам.
Tiens! Слышал я, что в школе вдруг
Его прозвали Косопузом:
Как остроумен высший круг!

И точно, к Феде, ненароком,
За то, что выступал он боком
И был в мундирчике кургуз,
Пристала кличка: Косопуз.

Парадный бал с большим обедом
Граф Баккара в тот год давал
Кончавшим школу правоведам.
Уж хрусталем буфет сверкал
И ждали музыканты знака.
На фоне мрамора и лака,
Радушно перед входом став,
Сиял тремя звездами граф,
И рдела лента из-под фрака.
Пощипывая нежный ус,
Явился Феденька последний,
Вдруг неожиданно в передней
Лакеев охватил конфуз,
И подмигнул швейцар игриво:
Служанку по спине шутливо
С размаху шлепнул Косопуз
И сам же, скорчась (стыдно стало),
Присел за вешалкой. — Дурак, —
Рыдая, девушка сказала.
Но обошлося без скандала,
Лишь Федя красен был как рак.

Тянулось время. Дни летели.
Экзамены Федюша сдал.
Внезапно почтальон примчал
Ему письмо. — Maman в постели, —
Печальный дядя извещал
Племянника. На самом деле
Maman была уж на столе.
Вот Федя дома. Опустели
Родные стены. Мать в земле,

У дяди кудри поседели,
А дни все мчались к тайной цели
И незаметно жизни сор
Сметало время.
— Theodore,
Ты видел мамку Палагею?
Уж пятый день лежит она
На кухне при смерти, больна.
Твердит, что помереть не смею,
Пока глазком не погляжу
На барчука. Я прикажу
Ей отнести хоть чаю, что ли,
А ты, мой друг, сходи туда.

На кухне тишь. Не без труда
Старуха, охая от боли,
Приподнялась. — Лежи, лежи.
Ну, что такое? — Ох, мой милый:
Врать не хочу перед могилой.
Сказать аль нет? — Ну, ну, скажи.
— Дай, Господи, собраться с силой.
Федюшенька, не барин ты:
Ты мой сынок, ты мой рожоный.
— Как? — Ты барчонок подмененный.
Кому узнать? Одни кресты
Да кости. Сделала я дело,
Скончалось барское дитя.
Я, вишь...
Старуха захрипела,
Молчит. Конец. Синеет тело.

И Федя вышел вон, свистя.

В пустой столовой дядя Павел
Дымя сигарой, кофе ждал,
Но Федя завтракать не стал
И дядю одного оставил.
Куда ж теперь он путь направил?
Зачем так быстро побежал
Прямой дорогою к базару?
По воскресеньям, в самый жар,
За рощею шумел базар.
Был летний день. Цветы от жару
Клонились, будто под удар.
Пел колокол. Звенели пчелы.

С утра на площади веселой
Галдят мальчишки, мужики.
На бабах яркие платки.
Шипит пирог, дымится сальник.
Орехи, семечки, стручки.
Бренчат гроши и пятачки.

А вот и стойка. Целовальник
Стаканчик водки нацедил,
И Федя, крякнув, жадно пил.
Потом, в лад бубну и гармошкам,
Плясал и гикал под окошком,
И приседал, и семенил.
Крича, не слушая издевок,
Щипал и звонко чмокал девок.
Свистал, засунув пальцы в рот.

— Откуда едакий урод?
— Да барин, слышь. — Какой шут барин?

— Да бают, будто сам Тугарин:
Чего народ не наплетет.

Базар разъехался. Темнело.
На небе жирная луна
В кровавом блеске цепенела.
Шатаясь, красный от вина,
Брел Федя к дому по аллее.
Взобравшись тихо на балкон,
Пустынным коридором он
Прошел к портретной галерее.
Ключа за дверью замер звон.
Недолго там он оставался:
По дому гулкий стук промчался;
Мгновенно выломан карниз,
И дядя, со свечой, в бешмете,
Увидя Федю на паркете,
Бессильно рухнулся: — Mon fils!
Смотрели слуги мрачно вниз.
В неверном, зыбком полусвете
Огонь свечи, мерцая, рдел.
Ряд гордых лиц со стен глядел.
Камзолы, ленты, букли, шали
То, оживая, отступали,
То снова прятались в углу.

В крови, на матовом полу
Валялся Федя с пистолетом.
Лицо дышало мирным светом,
Как будто сбросив тяжкий груз.

Так умер Федя Косопуз.

1918

226. КНЯЗЬ ИТАЛИЙСКИЙ

Славу Суворова дай мне воспеть, величавая муза,
Клио могучая, ты, что следила с вершины Олимпа
Гнев Ахиллеса и Гектора гибель у стен илионских,
Ты хитроумца Улисса лавровым венком осенила
И скитальца Энея, создателя Вечного Рима.
Ныне Суворову ты простираешь победную руку,
Дева-богиня прекрасная, мерно поющая Клио.

. . . .

Честных родителей сын, новгородец исконный
Суворов
Свет увидал по кончине Петра на четвертое лето.
Знаменья были рожденью его: комета сияла,
Огненно-пышным хвостом заметая
лазурные звезды.
В полночь на небе мечи золотые, скрестясь,
заиграли
И возвестили рожденному бранную славу героя.

. . . .

Отрок, резвясь, возрастал; далась ему грамота; скоро
Хитрость постиг он письма, научился и книжному
чтенью,
Но усердней всего возлюбил церковную мудрость.
Так в деревенской усадьбе, под мирной
родительской кровлей
Юное тело и дух укреплял благородный Суворов.

. . . .

Долг дворянина — мечом охранять Царя и Россию.
Долгу послушен, Суворов вступает на службу
солдатом

В славный Семеновский полк;
тяжела военная доля.
Надо солдату владеть ружьем, тесаком, пистолетом,
Чистить мундир, белить ремни, укладывать ранец,
Поздно ложиться и рано вставать
под стук барабана.
Время неслышно бежит, уж пятнадцатый год
на исходе,
Сверстники службы Суворова все в офицерских
доспехах,
Он же по-прежнему держит капральскую трость
перед взводом.

. . . .

Вдруг запылала Европа пожаром войны
Семилетней.
Прусские рати бегут, уже армия наша в Берлине.
Грабят дворец казаки, расхищают сокровища, села
Пеплом дымятся, дрожат города, вырастают могилы,
Тлеют развалины, голод грозится костлявой рукою.

. . . .

Грустно равнины холодные ранней весною темнели,
Где наливался ячмень и кустился цветущий
картофель,
Где земледелец прилежный усердно склонялся
над плугом,
Там на взрытой земле валяются конские трупы,
Пушки, колеса разбитые, седла, обломки лафетов,
Вороны вьются, шумя, и кричат, раздирая добычу.

Бранными нивами мчался в почтовой тележке
Суворов.
Юный герой скакал в Петербург с вестями о мире,

С первым крестом на отважной груди и с первою
раной.

. . . .

Польшу давно волновали раздоры; бывалая слава
Яна Собесского меркла; нахмурились новые беды,
И угасала без власти свобода, как светоч без масла.

Сейм точно улей гудит; на скамьях
горделивые паны
Ссорятся, спорят и громко кричат, друг друга
не слыша.
Польшу погубит Россия! Пора нам восстать
за отчизну!
Старый магнат в кунтуше, опоясанном
дедовской саблей,
Спорил с напудренным юношей в алом
французском кафтане,
И на площадь из окон летел его крик: не позволю!
Но прозвучало над сеймом, как колокол,
веское слово:
Русский посол князь Репнин величаво стоял
на пороге,
И перед волей Царицы смирились избранники сейма.

Юноши знатные к бою рвались, подымая
восстанье,
Звали на суд короля, объявляли народную волю.
Но засверкал русский меч над поникшею
польскою саблей.
Быстрый Суворова натиск решил и
докончил победу.

Польша, как лебедь подбитая, билась,
раскинувши крылья.

. . . .

Гордо Яик, колыхаясь, несет светло-синие воды.
Всем изобильна река: лугами, и дичью, и рыбой,
Горы нависли вдали, разостлалось степное приволье.
Там башкирец стада стережет, и киргиз косоглазый
Беркутом травит лисиц, и калмык в кибитке кочует.
Беглые там казаки в хуторах по верховьям
гнездятся.
Буйный мятеж их взмутил благодатные воды Яика,
И на Москву непокорных повел Пугачев
самозванец.

Чернь ненавистная, подлая чернь, порождение праха!

Бибиков, опытный вождь, с Михельсоном,
наездником смелым,
Быстро рассеяли скопища; непобедимый Суворов
Вмиг примчал самозванца в Москву, и там
всенародно
Принял казнь Емельян Пугачев, разбойник
свирепый.
Тело сожгли палачи и по ветру развеяли пепел.
Так рассыпаются прахом дерзания черни безумной!

. . . .

Штурм Измаила свершился в морозное ясное утро.
Снег хрустел; в полутьме осторожно сближались
отряды.
Вот ракета блеснула, войска устремились на приступ.
Не было подвига доблестней, нет и победы чудесней.
Лезли солдаты на вал, упираясь штыками, друг друга

Криком бодря; на стенах, завывая, кривлялись
дервиши,
Лили смолу, кипяток и горящие рушили бревна.
Тщетно; затмилась луна Магомета, один
только турок
Спасся, чтоб весть принести султану о русской победе.

. . . .

Сто восемнадцатый год над могилой Суворова розы,
Выросши, падали, вновь распускались и падали снова,
Сто восемнадцатый год соловьи, прилетев, улетали,
И обновлялись деревья, и льдины Нева уносила.
Дети скончались его, и внуки его, и внуков потомки.
Нет никого на земле, кто бы помнил Суворова;
кости
Воинов чудных давно по безвестным
укрылись могилам.
Всё истлело, всё прах, но едва вдохновенная лира
Песню, гремя, заведет, оживают забытые тени.
Будто сейчас на коне перед войском промчался
Суворов
И последнего натиска ждут Измаила твердыни.

В мире одна суета, от трудов человеку нет пользы.
Род пройдет и придет, а земля пребывает вовеки.
Солнце, с востока поднявшись, торопится снова
к востоку,
Ветер кружит и на те же круги возвращается снова.
Всё, что было, и будет, и есть, ничего нет под солнцем
Нового; в мире одна суета и томление духа.

Лишь перед Божьим престолом покой уготован
для смертных.

1918

227. ШУТКА

Варшава за сто лет назад
Была не та, что в наши годы.

Дворцов ступени, храмов своды
И домиков веселый ряд.
Бульвары на французский лад,
Где подле европейской моды
Старинный лепится наряд.
Смех, разговоры, беглый взгляд.
Там промелькнет красотка-пани,
А там гайдук в усах, в жупане,
Надменный, величавый пан,
Гвардеец с дамою пернатой
И в медном кивере, усатый,
Гремящий шпорами улан.

— Ведь вы майор, а не цыган,
Побойтесь Бога. Как не стыдно?
Ну, право, мне за вас обидно.
Добро бы вы были буян
Или игрок, а то неряха:
В Варшаве, на глазах у ляха!
Срамите русский вы мундир.

И клубом дыма командир
Из чубука пустил в Галаха.

Что говорить? Полковник прав.
Увы, улан нечистоплотный
Не в силах побороть свой нрав.

С постели жесткой утром встав,
Идет он мыться неохотно,
Не чистит ни зубов, ни шпор.
Мундир засаленный и грязный,
И сам Гадах пребезобразный:
Небрит, невесть с которых пор,
Нечесан, с черными ногтями.

Но под косматыми бровями
Светился мягкий синий взор.

Придя с ученья, на постели
Прилег он с трубкой. В головах
Две сабли ржавые в ножнах
Нечищенных, скрестясь, висели,
И пистолеты в кобурах.
А под кроватью и в углах
Ремень, ночной колпак, рубаха,
Шнуры, лядунка с табаком,
Манежный хлыстик, чай и ром.
Табачный пепел у Галаха
И на столе, и под столом.
Он забывался легким сном.
Вдруг смех и голос молодецкий:
Да это Боренька Корецкий!

Корнет Корецкий был во всем
Галаху противоположен.

Они обедали вдвоем.

— Мой друг, ты просто невозможен:
Никто так гадко не живет.

Уж хоть бы ты женился, что ли.
— Что ж, я не прочь от брачной доли,
Да кто же за меня пойдет?

— Ну, слушай. Счастье в нашей воле:
Я отыскал тебе жену:
Умна, красива, дочь магната.
— Ты шутишь? — Нет, рука солдата.
Да только... — Что такое, ну?
— Жениться надобно сегодня:
Графиня, мать ее, больна,
Боится умереть она.
Что делать, братец: власть Господня.
У ней двенадцать дочерей.
Желаешь, выбирай любую.
— Борис, друг милый, честь такую...
— Так одевайся: едем к ней.
Девицы с маменькой сидели
В гостиной у стола. В дверях
Внезапно шпоры зазвенели:
Вслед за Корецким шел Галах,
Умыт, причесан, выбрит гладко,
В красе огромных эполет,
Духами спрыснута перчатка,
И ярко блещет винтишкет.

Галах рассеян был безмерно,
А то бы он заметил, верно,
Что графам жить здесь мудрено:
В сенях темно и пахнет скверно,
В передней выбито окно,
В гостиной пролито вино,

И как-то сыро, точно в гроте.
Ни занавесок, ни картин,
Один разбитый клавесин.
Сама хозяйка, хоть в капоте,
Но не похоже, что больна,
А будто чем-то смущена
И локти держит на отлете.
А главное, еще странней,
Что все двенадцать дочерей
Равны и возрастом и ростом.

— Садитесь, пане. Будем просто.
Угодно рюмочку Нюи?
А это дочери мои.
Вот панна Зося, панна Стася,
Ягуся, Ванда, Броня, Кася,
Да ну их к бесу! И не счесть!
Когда жениться захотите,
Любую девочку возьмите,
А я благодарю за честь.

Был труден выбор для Галаха.
Перчатку долго он терзал
И, наконец, дрожа от страха,
На Зосю робко указал.

Их в тот же вечер обвенчали,
Потом торжественно встречали.

«Ох, — поутру Борис сказал, —
Боюсь, не вышло бы печали:
Наделал я Галаху дел.

Положим, он вчера напился,
Да, чай, сегодня разглядел,
С какой графиней породнился».

День незаметно пролетел.
Галах на службу не явился,
Четвертый вечер наступал:
Никто Галаха не видал.

Борис Корецкий истомился:
Вдруг новобрачный застрелился
Или мертвецки загулял.
Позор полку, а кто виною?
Нет, не полку, а мне позор.
Пойду ж к нему и всё раскрою:
Пора прикончить этот вздор.

Задумался корнет Корецкий
И, пересиливая страх,
Подъехал к булочной немецкой,
Где проживал майор Галах.

Открылась дверь. Он изумился:
Да где же я, куда попал?
Как и откуда появился
Миниатюрный этот зал?
Светло, уютно, ни пылинки.
В углу Распятие, картинки,
Цветы на окнах, у зеркал.
Герой идиллии невинной,
Галах, в халате, с трубкой длинной,
Болонку держит на руках,

С ним рядом Зося в белом платье
За вышиваньем. — Боря: ах!
И, с криком радости, в объятья
Схватил Корецкого Галах.
— А я к тебе, дружок: проведать.
— Вот это мило. Эй, обедать!
Да, бесу нас не побороть.
А Зося молвила: — Не надо
Так говорить, моя отрада:
Ведь нас благословил Господь.

1920

228. МИЛОСТЬ

Мне минуло в ту зиму двадцать лет.
Я в Петербургском университете
Учился, развлекался, ездил в свет,
По вечерам любил бывать в балете,
Езжал кататься в собственной карете,
Жалел, что мой мундир без эполет,
И можно про меня сказать, пожалуй,
Что был я и пустой, и добрый малый.

Раз ввечеру я выехал на бал.
Остановясь перед огромным домом,
Я ни огней, ни плошек не видал.
Кареты не подкатывали с громом
К его крыльцу. Тут, встретясь со знакомым,
Я от того с досадою узнал:
Бал отменен, хозяйка заболела.
Придется вечер провести без дела.

В театр? Давно одиннадцатый час:
Пожалуй, слишком поздно для балета.
К Дюссо? Но не манили в этот раз
Ни устрицы с шампанским, ни котлета.
Вдруг голос: «Здравствуйте, как славно это,
Поедем вместе, угощу я вас».
То был студент, сосед мой по балетам,
Сухой и смуглый, прозванный Макбетом.

Поехали. Дорогой он острил,
Рассказывал об Эльслер, о Шекспире.
Вот кучер лошадей остановил.
Гостиная в чиновничьей квартире.
Чай, трубки, фраки; кое-кто в мундире.
Речь юноша какой-то говорил,
Привстав перед угрюмой молодежью,
И звонкий голос прерывался дрожью.

Я помню, как польстило мне тогда
Присутствие на тайной этой сходке.
Увлечь меня не стоило труда.
Я стал читать Фурье, пить много водки,
Мне полюбились карты и красотки
И всё же в свет я ездил иногда,
Чтобы блеснуть вольнолюбивой фразой
Перед Мари, княжной голубоглазой.

Но чаще проводил я вечера
С моим Макбетом. Раз меня куда-то
Умчал он поздно ночью. До утра
Играли с ним два польские магната,
Два гордых пана, два родные брата.
За картой карта билась. Их сестра

Со мною рядом на окне сидела
И кошечкой лукавою глядела.

Не помню, как коснулся я ноги
Красавицы. Горячее пожатье,
Безмолвный вздох. Ни братьев, ни слуги
Я не стеснялся. Что за важность братья,
Когда, скользя, благоухает платье,
В глазах бегут туманные круги
И замирает жаркое дыханье.
На завтра мне назначено свиданье.

Поутру стук. Является Макбет
И говорит: «Увы, попалась панна.
Тебе шлют братья вызов. Спору нет,
Что смерть твоя для дела не желанна,
Но хоть ты вел себя смешно и странно
И выхода тебе другого нет,
Ты можешь дело повести иначе
И даже стать героем, при удаче».

План избавленья быстро понял я:
Убить Царя, и всё само решится.
Я буду знаменит, во все края
Промчится весть, народ освободится,
Моя продерзость панами простится,
И будет Ванда навсегда моя.
Со всей Европы лавры мне награда,
Лишь до ночи откладывать не надо.

Я согласился, как во сне. «Смотри
Не промахнись, а мы начнем восстанье».

Иду. Вот Летний сад в лучах зари,
И грезится мне, будто на свиданье
Явился я. Кому ж мое признанье,
Тебе ли, Ванда, иль тебе, Мари?
Стою, волнуюсь, напрягаю взоры.
Нет никого. Вдруг ясно слышу: шпоры.

Тень исполина по аллее шла
Спокойным шагом, мерно-величавым.
На нем шинель солдатская была
И каска медная с орлом двуглавым.
Красивый ус вился кольцом кудрявым,
Огромный взор сиял, как у орла.
Царь видел всё. Минута колебанья,
И я на снег свалился без сознанья.

Очнулся я. Румяный запад гас,
За мной чуть слышно удалялись шпоры.
Куранты проиграли. Поздний час.
Чу, барабан! Вечерние дозоры
Запел рожок. Дворцы, мосты, заборы
Я будто вдруг увидел в первый раз
И в первый раз узнал и понял ясно,
Что жизнь проста, блаженна и прекрасна.

Домой придя, я крепко спал без снов.
А утром весть: Макбет и Ванда взяты
Под стражу петропавловских замков.
Политики и шулера-магнаты
Захвачены. Одни сданы в солдаты,
Другим в Сибири крепкий дом готов,
И в дальний путь, заливисты и бойки,
Помчали их фельдъегерские тройки.

А я весной женился на Мари
И поспешил в отцовское именье
Хозяйничать. Мы ехали дня три
Цветущей степью. Жаворонков пенье,
Крик дергачей, кузнечиков скрипенье.
Я говорил жене моей: «Смотри, —
Я счастлив, жив, с тобой навеки связан
И этой милостью Царю обязан.

Он видел, как я шел его убить,
Но мой удар отвел орлиным взглядом
И юношу-безумца погубить
Не захотел. Мне жизнь грозила адом,
Зато теперь раскрылась райским садом.
И этот рай, и счастие любить,
И мир весны, и в небе хор воздушный
Дарует нам монарх великодушный».

1920

229. ИДЕАЛ

Осиротев, я жил в Казани
У старой тетушки. Тогда,
В давно минувшие года,
Любил я не балы, не сани,
С лихою тройкой, не вино,
Не женщин, не охоту. Но,
Как старцу-схимнику вериги,
Мне были милы только книги
Да мой уютный кабинет.

Я был философ и поэт.

— Ах, юность не приходит дважды, —
Вздохнула тетушка однажды,
Платочек выронив из рук;
Пора жениться, милый друг.
Тебе невесту я сыскала,
За нею триста душ своих,
Ты ж внук героя-адмирала
И, значит, выгодный жених.

Подумала и продолжала:
— У ней приятный, кроткий нрав.

Платочек тетушке подняв,
Я поблагодарил. Невеста
И впрямь была умна, скромна,
Прекрасна, как богиня Веста,
И непорочна, как она.

Красавицу Варварой звали.

Но я мечтал об идеале.
На сердце призраком сиял
Невоплотимый идеал
В святых лучах небесной дали.
И оттого казалось мне,
Что будущей моей жене
Не много боги даровали.
Она, конечно, хороша,
У ней бесстрастная душа,
Зато и смертная утроба;
Как все, и ест, и спит она,

И стариться должна до гроба,
И умереть обречена.

И жизни новой я пугался,
Страшил меня грядущий брак.

Пред самой свадьбою скончался
Мой дядя, старый холостяк.
Покойник был большой чудак
И мизантроп. Бывало, в детстве
Он пальцем мне грозил всегда.
Пришлось поехать мне туда,
Чтоб кончить дело о наследстве.
Я прибыл в дядино село
На святках в полночь. Из-за сада
Вздымалась белая громада.
Луна сияла, как стекло.
С морозу яркое тепло.
Камины радостно трещали,
Лампадки ласково мигали.
За дверью отворяя дверь,
Я шел по комнатам старинным,
Чуть освещенным и пустынным,
Полузаброшенным теперь.

Так очутился я в портретной.
Здесь в одинокой тишине
Возникнул призрак мой заветный
И нежно улыбнулся мне.
Восторгом сердце затомилось.
Луна холодная дымилась.
Чернелся в окнах мерзлый сад,

Портретов неподвижный взгляд
Меня преследовал.

Вдруг стало
Неловко мне. Страшна была
Едва мерцающая зала.
Казалось, кто-то из угла
Следит за мною. Зеркала
Безумный взор мой повторили,
Биенье сердца слышно мне.
— Кто тут? — Молчанье. Как во сне.
— Кто тут? — Часы в углу пробили.
Раздался голос: — Первый час.
С приездом, сударь, это я-с.
Покойник барин вас любили.
Я ихний карлик Бурундук.

И тотчас, жирный, как паук,
Качаясь под чалмою пестрой,
Ко мне уродец подошел
И, сморщась, мне в лицо навел
Свой взгляд внимательный и острый.

На сердце сразу отлегло.

В столовой самовар светился,
С посудой Бурундук возился,
Луна сияла, как стекло.

— Я, сударь, доложить обязан,
Что дом с усадьбой вам отказан.
— А завещание? — Оно-с

У барышни Варвары в зале.
— Какой Варвары? — Всё равно-с
Покойный барин приказали
Им компаньонку отыскать,
Чтобы садилась их встречать
Здесь по утрам у самовара.
Так эта самая Варвара...
— Ну, хорошо. Устал я. Спать.
Тут дядя мне во сне явился,
Он улыбался и грозился
И говорил: Смотри, мой друг,
Чтоб ты до свадьбы не женился.

Я застонал и пробудился.
И вдруг услышал странный звук,
Протяжный, тонкий и звенящий,
Как будто заперли блестящий,
Железом кованный сундук.

Наутро, выйдя к самовару,
Я встретил за столом Варвару
И громко вскрикнул. Я не знал,
То сон иль явь. Передо мною
Мой воплощенный идеал
Сиял небесной красотою

Божественный, нездешний свет!

— Хотите чаю? — Чаю? Нет.
Я счастлив. Любоваться вами
И подле вас сидеть всегда
Вы позволяете мне? — Да.

— Я мил вам? — Да. — Скажите сами,
Моя вы? — Да. — И со слезами
Я перед ней упал тогда.

Сияя чудными глазами,
Она молчала. Я дрожал
От счастия. Как вдруг заметил
Что кто-то под столом держал
Варвару за руку. Я встретил
Зеленый взор Бурундука
И крикнул грозно: — Прочь отсюда!
Касаться неземного чуда
Не смеет хамская рука.
Пошел сейчас, иль будет худо!
Но карлик сумрачно сказал:
— Покойник барин приказал
Мне быть при барышне покуда.
Я не могу уйти теперь.

Она безмолвно-равнодушно
Смотрела вдаль. Мне стало душно,
Шатаясь, отворил я дверь.

Мой идеал, моя Варвара!
Моя невеста! Нет, она
Казанской девочке не пара,
Не пара светляку луна.
И тут же, размышляя строже,
Я видел, — непонятный рок! —
Что две Варвары очень схожи,
И, сознаюсь, невольной дрожи
При этом побороть не мог.

Вернувшись снова к самовару,
Я не застал мою Варвару,
Она ушла. Зачем? Куда?

Дрожит вечерняя звезда,
Но я часов не замечаю,
В портретной зале я скучаю.
Пробила полночь. И тогда —
О, счастье! Вновь я различаю
В углу лицо Варвары. Вновь
Бросаюсь к ней. — Моя любовь!
Люблю тебя! — Хотите чаю?
— Варвара, любишь? Да? — О, да!
— Скажи, что любишь! — Да! — Со мною
Будь вечно, будь моей женою!
— Да! — Ты согласна? Навсегда?

Рукою руку я встречаю,
Но пальцы холоднее льда.
В объятья деву заключаю
И слышу вновь: «Хотите чаю?
Хотите чаю? Да! Да! Да!»

Под ней подставка подвернулась,
И, задрожав, она согнулась
С протяжным звоном. Я упал.
Тень карлика к дверям метнулась.

Лишь через шесть недель я встал
В чаду горячечного жара.
Исчезла дивная Варвара,
И с ней зловещий Бурундук

Исчезнул. Я почуял вдруг
Восторг блаженного угара
И здесь остался навсегда.

Но не исчезла без следа
Печать таинственного дара.

Я счастлив. В тихий час, когда
Забудусь я у самовара,
Под гул огней, под говор пара
Мне голос слышен иногда:
— Хотите чаю? — Чаю, да.

1920

230. СОН

Морозная московская зима,
Лазурный месяц, синие бульвары,
От ярких звезд еще чернее тьма.

Безмолвные белеют тротуары.
Хрустя, спешу с Никитской на Арбат
И слушаю ночных часов удары.

Мне весело. Я молодости рад,
Влюблен и смел. На мне шинель с бобрами,
И серый капюшон ее крылат.

Бульвар блестит. Над белыми домами
Туманные расходятся круги,
А я иду и слышу за шагами

Моими чьи-то легкие шаги.
Остановлюсь: лишь месяц над Москвою
Да синеватый свет его дуги.

Едва пойду: и тот идет со мною,
Но справа или слева — ни понять,
Ни разглядеть за дымкой голубою.

Вот понемногу стал я различать:
Он в шубе, сгорбленный, в карманах руки.
То явится, то пропадет опять.

То, будто слушая ночные звуки,
Развеет из-под шапки прядь волос,
То, сморщившись, зевнет, как бы от скуки.

И в воротник упрячет острый нос.
Опять исчез... Вдруг хлопнули ворота,
И на дворе пролаял сонный пес.

Кто там, в окне, склоненный у киота,
Чей это шкап, чернильница, перо,
Чья на столе начатая работа?

Узоров снежных блеск и серебро,
Угасший месяц, белые бульвары,
Алмазное Медведицы бедро.

Пустынные белеют тротуары.
Я на скамье, закутавшись, сижу
И слушаю к заутрене удары.

Во сне иль наяву? Иду, гляжу.
Скребки лопат, горячий запах булок,
Воркуют голуби. И выхожу

В задумчивый старинный переулок.
Вот церковка. На паперти слепой,
Спокойный благовест и чист, и гулок.

Две-три старушки молятся со мной,
А перед нами, в синеве белесой
Опять встает и смотрит, как живой,

Длинноволосый профиль длинноносый.
То просияет в огоньках лампад,
То вспыхнет у оконного откоса.

И не понять, вперед или назад
Всё тянется и манит за собою
Мерцающий, полузакрытый взгляд.

Яснеет храм рассветной полумглою.
Но возгласил священник в алтаре,
И вновь я просыпаюсь над скамьею,

Весь в утреннем морозном серебре,
Во сне иль наяву? И вдруг печальный
Церковный хор заплакал на дворе.

Вдоль по бульвару поезд погребальный
Задвигался, народу без конца,
А мне из гроба светится прощальный

Далекий взгляд знакомого лица.
О, как черты измученные тонки
Под тяжестью лаврового венца!

Во сне иль наяву? Звенели конки;
Сияло солнце в небе голубом,
И удалялся поезд по Волхонке.

В ту ночь во мне свершился перелом
И, навсегда разгаданный отныне,
Непогрешимый смысл открылся в нем.

В пределах нашей жизненной пустыни
Играют множеством мгновенных душ
Одни и те же бесы встарь и ныне.

Француз и турок, женщина и муж
Испытывают родственные муки,
В чаду веков тоску встречая тут.

Так предка грусть живет в далеком внуке,
Скорбь старика в младенческих мечтах,
Над смертными телами, в смертной скуке

Всплывают на истрепанных крылах
Всё те же примелькавшееся маски,
Давным-давно истлевшие в гробах.

Под ними бес нашептывает сказки,
Бесцельно заставляя оживать
Отпетые и выцветшие краски.

Он воплотить стремится их опять:
И только Бог единый знает, много ль
Обречено нас те же сны встречать,

Которыми когда-то грезил Гоголь.

1922

231. ДВЕ СЕСТРЫ

Катишь красавица. У ней глаза
Под бархатом бровей, как два агата,
На матовом лице, кораллы-губы,
Точеный подбородок. Разговоров
Пустых она не терпит, смотрит строго
И не опустит глаз ни перед кем.
Бурнус короткий по последней моде
И шляпка Гарибальди. Маша проще:
Румяная, курносая, в веснушках,
Застенчивая, с русою косой.
Не перетягивает пышный стан
И дома носит русский сарафан.

Катишь читает Бокля. Маша разве
Раскроет старый альманах, и то
Когда не спится. У Катишь всё книги,
На письменном столе портреты в рамках.
У Машеньки в светелке пяльцы, кот,
Икона с вербой, в клетке канарейка,
В окне жасмин.
Катишь всегда за книгой,
Спит до полудня, ночь сидит при лампе.

А Маша вместе с жаворонком встанет,
Порхнет на двор, оттуда в огород,
На кухне побывает: к самовару
Горячие оладьи принесет
И на базар идет, пока не жарко.
Не торопясь, идет за ней кухарка.
Родитель их, полковник отставной,
Давно вдовец. Старик и две девицы
Живут уютно в тихом городке.
Три улицы, слободка, огороды,
Заборы заросли густой крапивой
И лопухом. В оврагах бродит стадо,
Высоко машут мельницы. Луга
То ярью отливают, то багрянцем,
То золотятся брызгами цветов.
За речкой белый древний монастырь,
А там поля, и над живым разливом
Ржаных полей плывет лениво лунь.

О, благодатный, ласковый июнь!

Старик души не чаял в дочерях,
Но перед старшею робел немного,
А потому, без дальних разговоров,
Пустил ее учиться в Петербург;
И денег дал, и выправил бумаги.

Катишь уехала. Поля, овраги
Пушистой снежной гладью занесло.
Всё замерло: слободка, речка, мостик,
Одни мальчишки бегают с коньками,
Днем полумрак, а ночью полусвет.

Но в домике тепло. Пылают печи,
Мурлычет кот. С лежанки изразцовой
Так, кажется, вовек бы не сошел.
У самовара Машенька с вязаньем,
Старик молчит и курит.
После Пасхи
Катишь вернулась, только не одна:
С ней юноша высокий, худощавый,
В широкополой калабрийской шляпе,
Плед на плечах, большие сапоги.
— Отец, вот мой жених, Иван Петрович.
Старик закашлялся и замигал,
А Машенька зарделась ярче мака.
— Катишь, да ты остриглась? — Так удобней.
На письменном столе своем Катишь
Опять расставила портреты, книги,
Какие-то приборы, желтый череп.
А вечером, когда старик и Маша
Отправились ко всенощной, прошлась
С Иван Петровичем по всей слободке:
Она без шляпки, с книжкою, в очках,
Он в блузе и с дубиною в руках.

Как сон, прошло два месяца. Полковник
Сперва дивился бесконечным спорам,
Что затевала с женихом Катишь,
Потом привык. — Смотри, как горячатся:
Подумаешь, поссорятся сейчас,
А весь и шум из-за каких-то книжек.
Не стоют эти книжки двух коврижек.
За чаем, за обедом песня та же.
Житья нет от невесты жениху.

Всё попрекает: вы-де не дозрели,
Вы эгоист. Прочтите то, да это.
Иван Петрович, щурясь, покраснеет,
Старик лукаво подмигнет и скажет:
— Попался, брат. А Маша, улыбаясь,
Возьмет Иван Петровича тарелку,
Положит на него жаркого с жиром,
С подливкою, с душистым огурцом
И только переглянется с отцом.

Вот как-то в праздник Маша собралась
К заутрене. Всходило солнце, птицы
Звенели радостно, сверкала речка
И гоготали гуси в камышах.
Под утренними красными лучами
Как на ладони белый монастырь
И золотых полей немая ширь.

У моста человек. — Иван Петрович?
Вы разве встали? — Собственно, я вовсе
Сегодня не ложился. Был у нас
С Катишью разговор принципиальный
До самого утра. — Бедняжка вы,
За вас молиться надо.

В этот день
Иван Петрович в Машиной светелке
Сидел до вечера. Пришла Катишь
И увидала жениха на стуле
Против сестры. Она мотала шелк,
А он держал его, расставив руки.
— Прелестная идиллия. Как мило.
Вы друг для друга созданы. — До слез

Смутилась Машенька. Катишь смотрела
Кусая губы. — Вас, Иван Петрович,
Ждут к ужину. — И вышла, хлопнув дверью.
Иван Петрович поспешил за ней.

Прошло еще немного быстрых дней,
И в доме наступила перемена.
Катишь молчит упорно, а жених
Стал за столом садиться ближе к Маше,
Шутить, смеяться, слушать разговоры
О новостях уездных; вместе ходят
Они ко всенощной. Катишь ни слова.
— Уж ты не захворала ли, голубка?
— Я занята.
На именины Маши
С утра явились гости к пирогу:
Исправник, казначей, судья, почтмейстер,
Их жены с дочками, и все как пышки
Румяные, ну прямо на подбор.
Пирог с цыплятами и рисом сдобный
Сама месила Маша. — Объяденье, —
Сказал исправник. — Что за прелесть, ах! —
Залепетали дамы и девицы.
Но Машеньке не до похвал. Она
К сестре наверх торопится с тарелкой.
— Катишь, ты нездорова? Пирожка
Не хочешь ли? Ты, может быть, забыла:
Я нынче именинница. — Ступай
К своим гостям. — Сейчас Иван Петрович
К тебе придет. — Скажи, что не хочу
Его я видеть.
Грустная, к столу

Вернулась Маша. Но подруги скоро
Ее развеселили. На дворе
Затеялись горелки. Два кадета,
Поручик, гимназист, Иван Петрович
И барышни. Веселье, хохот, крики!
Любуются с крылечка старики.
Гори, чтоб не погасло! Побежали
Иван Петрович с Машенькой. Вдруг сверху
Окно открылось. — Жан, я вас прошу
Прийти ко мне. — Игра оборвалась.
Иван Петрович, точно виноватый,
Пошел наверх.

— Мы завтра уезжаем,
Извольте собираться. — Я, куда?
— Не «я», а мы. Вы, кажется, забыли
О нашем общем деле. Пироги,
Горелки, сарафаны и молебны
Вас превратили в пошляка. Стыдитесь,
Краснею я за вас. — Я не поеду.
Зачем мне ехать? Я останусь здесь.
— Останетесь? Прекрасно, оставайтесь,
Я и одна уеду. Что же вы
Молчите, или стыдно?

И Катишь
Впервые за всё лето улыбнулась
Не гордо и презрительно, а нежно
И даже робко. Но Иван Петрович
Не отвечал улыбкой на улыбку.
— Катишь, довольно. Понял я ошибку,
Что отравила молодость мою
И радость жизни. Надоело мне

О книжных призраках мечтать и спорить,
Мне дела нет до важных пустяков.
Хочу я тихого, простого счастья,
Жить по-людски, трудиться и любить.
Здесь, в городке, я принимаю место
Уездного врача.
Катишь сверкнула
Горящими глазами. — Продолжайте,
Я знаю все. Вы любите сестру.
— Люблю и умоляю: возвратите
Мое кольцо и слово. Мы венчаться
Решили осенью.
Белее мела
Была Катишь, коралловые губы
Дрожали. — О, не бойтесь, господин
Уездный лекарь, за такой блестящей
Не погонюсь я партией. Ну, что же,
Плодитесь, размножайтесь. Жизни цель
Вы поняли. — Я понял лишь одно:
На отрицанье счастья не построишь,
И понял, почему при вас так тяжко,
Так больно сердцу, словно самый воздух
Пропитан ненавистной злобой. С Машей
Душе легко: как будто мать меня
Покойная качает на коленях
И ласковые сказки говорит.
Катишь, опомнитесь, вернитесь снова
К земле и людям. — Ну, довольно. Я
Поэтов не люблю. Прощайте.
Ночью
Катишь гнездо покинула родное
И, не простясь ни с кем, навек вернулась

В далекую столицу, к людям новым,
За новым делом и за новым словом.

И как хорош наш тихий городок!
Калитки, палисадники, скворешни,
Вдоль по заборам пышная крапива
И лопухи, слободки, огороды.
Взойди на мостик, погляди кругом:
Старинный монастырь, как на ладони,
За ним луга то ярью, то багрянцем,
То золотом пестреют. На рожке
Поет пастух. Взмывают крылья мельниц,
А там овраги, и до самой дальней
Каймы лесов синеющей, куда
Ни хватит взор, волнуются, встают,
Колышутся ржаных морей разливы.

Над ними белый лунь плывет лениво.

1922

232. НЕСЕССЕР

Играет солнце над рекою,
Звонят к обедне под горою.
Старинный город на горе,
Зеленый домик на дворе.

Из нежно звякнувшей калитки
Выходит бледный господин.
Пальто — мешок, фуражка — блин,
В руках портфель и две открытки.

Как отдыхающий от пытки
Или от тяжести оков,
Он отдувается, вздыхает
И, поглядев из-под очков,
Покорно под гору сбегает,
Пугая пыльных воробьев,
Под скрип колес и говор детский.

Откуда он и кто таков?
Учитель древних языков
Иван Иваныч Коневецкий.

Несессер прозвище ему.
Сейчас узнаем, почему
И как родилась кличка эта.
Явился к нам в исходе лета
Преподаватель молодой,
Прилежный, скромный и худой.
У вдовой дамы поселился
В зеленом домике, пленился
Хозяйской дочкой, как дитя,
И после Рождества женился.

Раз в классе он разговорился
И так сказал, полушутя:
«Моя невеста, Мери Дрессер,
Трудолюбива и скромна.
Кашне связала мне она,
А я ей подарил несессер».

Однако тою же весной
Узнали в городе, что Мери

Из-под венца пришла иной.
То в спальне вдруг порой ночной
Со смехом запирала двери
И оставляла за стеной
Дремать супруга на диване,
То теребила уши Ване,
Крича: кутейник, эфиоп!
То, даже при гостях, нередко
В него швыряла туфлей метко
И попадала прямо в лоб.

Смутился он вчера немало,
Когда, ложась, она сказала:
— Ты завтра на экзамен? — Да.
Да, Меричка. — Не будь же строгий,
Не мучь детей. — Я никогда...
— Открытки захвати, дорогой
Опустишь. Погоди, куда?
Оставь до завтра штуки эти.
Ты нынче ляжешь в кабинете,
Да лампу потуши скорей.

А поутру из-за дверей,
Пока он чай хлебал в столовой,
Зевая, крикнула сурово:
— Так будь же к детям подобрей!
— Но, если, Меричка... — Ни слова!
О коврик топнула нога,
Четыре быстрые шага,
В супруга туфля полетела,
И замер он у пирога.
А теща ласково пропела:
— Ты слишком, Меричка, строга.

Гимназия темней вокзала.
Безмолвна актовая зала.
Ждут семиклассники кругом.
Сидит Несессер за столом.

Экзамен шел легко и бойко.
Учитель вызывал читать
Виргилия. — Андреев — пять.
Быков — четыре, Карпов — тройка.
Ну-с, отвечайте, Куликов.
И педагог из-под очков,
Смеясь, мигнул на гимназиста.
Красавец в куртке серебристой,
Гигант двенадцати вершков,
Он — точно конь арабской крови.
Пробор, высокий воротник
И припомаженные брови.
Но безнадежно взор воловий
Над «Энеидою» поник.

— Садитесь, два! — Иван Иваныч!
— Ну, что? — Поставьте тройку. — Ох!
— Иван Иваныч, видит Бог,
Вчера как сел с обеда на ночь,
Не разгибался до утра.
Иван Иваныч, не губите.
— Нет, Куликов, нельзя, идите.

Конец, и по домам пора.

Какая длинная гора!
Вот на горе зеленый домик.

— Ну, Ваня, что твои птенцы,
Как отвечали? — Молодцы.
Один лишь комик, право комик:
Не знал ни правил, ни стихов.
Пришлось ему поставить двойку.
— Да кто же это? — Куликов.

И он, зажмурясь, был готов
Перетерпеть головомойку.
Но Мери встала и без слов
Зовет обедать. Раков блюдо,
Дымится лакомая груда
Румяных, жирных пирожков,
Блестит графин холодной водки.
Глаза жены, как небо, кротки,
Она послушна и нежна.
То мужу подольет вина,
То выберет кусок селедки.

— А где же маменька? — Она
Ждет нас в гостях, но ты, конечно,
Устал, так я схожу одна.
Несессер прихлебнул беспечно.
— Нет, я восторга не снесу!
Пусть в нем ни меры нет, ни смысла,
Но в этом вижу я красу.

И сладкая слеза повисла
На раскрасневшемся носу.

— Я, Ванечка, перенесу
Опять к себе твою кроватку,
И будешь ты всегда со мной.

— О, Меричка, о, ангел мой!

— Ты выронил из уха ватку,
Ах, вытри, вытри под губой!
Да, кстати, ради дня такого,
Прости лентяя... как его? Ну, этого...
— А, Куликова! Да он не знает ничего,
Хоть, несомненно, добрый малый.
Ну, хорошо, который час?
Сегодня в шесть совет у нас,
Так Куликову я, пожалуй,
Поставлю три на этот раз.

Краснеет вечер над лугами.
Синеет пар над берегами.
У пристани босяк поет,
У моста дышит пароход.

Сюда, на гордый Самолет,
Зашел Несессер выпить пива.
Над дремлющим простором вод
Закат румянится стыдливо,
И тянет свежестью с реки.
На пароходе огоньки
Дрожат и зыблются игриво.
На палубе и здесь, и там
Фуражки, шляпы, перья дам,
Пыхтит машина торопливо.
Луна, багровая, как мак,
Приподымаясь боязливо,
Глядится в зеркало разлива,
И тает в нем прозрачный мрак.

Пора домой. Наверно, Мери
Супруга в тихой спальне ждет.
Несессер радостно идет
По пароходу. Вдруг у двери
Шатнулся и разинул рот.
В каюте розовые тени,
А у стола, за коньяком,
У Куликова на колене,
Изнемогая в томной лени,
Сидела Меричка верхом.

Заря погасла за рекою,
Луна сияет над горою.
Весь город точно в серебре.
Идет Несессер по горе.

1922

233. НАДЕНЬКА

Я помню Наденьку Орлову
Совсем ребенком. Налегке,
В полусапожках и платке,
Она, смеясь, гнала корову.
Уж на вечернюю дуброву
Ложился сумрак. На реке
Синел туман, и в челноке
Рыбак спешил к ночному лову
С вязанкой удочек в руке.

В глухом уездном городке
Ее отец, седой урядник,
Вдовец из отставных солдат,
Имел свой дом и палисадник.
Еще у Наденьки был брат,
Телеграфист, уездный фат,
Велосипеда бойкий всадник.

То было двадцать лет назад.
Подростком Наденька Орлова
С кухаркой старою вдвоем
Вела хозяйство. День за днем
Струился чинно и сурово.
Дышал уютом тихий дом.
Щегленок в клетке под окном,
Диван, два кресла, стол дубовый
И медный самовар на нем
С блестящей утварью столовой.

По воскресеньям иногда
Сходились гости к самовару
И пели хором. Брат тогда,
Звеня, настраивал гитару,
И было весело всегда.
Письмо уряднику прислала
Сестра. В Москве она жила
И экономкою была
У пожилого генерала.
Она племянницу звала
И вывесть в люди обещала.
Так Наденька москвичкой стала
И золотые купола
С веселым страхом увидала.

Семь лет промчались, как стрела.
Жизнь беззаботная текла,
Как будто смертный час отсрочен.

Старик Орлов был озабочен
И грустен. Под Мукденом пал
Любимец сын. Старик узнал,
Что мир ненужен и непрочен.
Он призадумываться стал,
Слег, расхворался и не встал.

И тихий домик заколочен.

Над пестрой, древнею Москвой
Садилось солнце. Вдоль бульваров,
Шумя, катился ток живой.
Десятки тысяч самоваров
Кипели в тысячах домов,
Гудели окна кабаков,
Пылили легкие пролетки.
В зоологическом саду
Рычали львы из-за решетки,
Плескались весла на пруду,
И Наденька, привстав на лодке,
На замерцавшую звезду
Глядела робко и стыдливо.
Ее спокойный кавалер
На весла налегал лениво,
С небрежной строгостью манер.
Никто бы не узнал теперь
Былой урядниковой дочки,
Мещанки в ситцевом платочке,

Что бегала по слободе,
Звала телят и кур кормила,
В красавице изящно-милой,
Летящей взорами к звезде.

Кто ж кавалер ее? Везде
Известен Иоанн Аскетов,
Знаток стиха, король поэтов,
Замоскворецкий де-Гурмон.
На самом деле звался он
Иван Егорыч Отшвыренков
И с малолетства был силен
В стихосложеньи. Солдатенков
Покойный мальчика крестил,
Учиться в школу поместил
И издал том его сонетов.

Таков был Иоанн Аскетов.

Писатель Наденьку встречал
В полусемейном, тесном круге
У гимназической подруги.
Сперва ее не замечал,
Потом заметил и влюбился.

Стемнело. Вечер закатился,
Огни погасли над прудом.
По Пресне Надя шла с поэтом.
Куда ж они? В семейный дом,
Промчаться в танце молодом,
Блеснуть перед московским светом
Или в театральное фойэ?

Кто, сидя в лифте на скамье,
Многоэтажный дом огромный

В корзине пролетал подъемной,
Тот видел надпись: «Рекамье».

Здесь, перед дверью ярко-новой,
Аскетов с Наденькой Орловой
Из лифта вышли. Дверь ключом
Американским отворили;
В передней тихо, как в могиле.
Вздохнула Наденька. О чем?

Фонарь японский в кабинете,
Душистый кофей с калачом,
Коньяк, ликеры. В полусвете
Дышала папироской там
Не Рекамье, — не бойтесь, дети, —
А просто Теркина madame,
Одна из моложавых дам
В румянах, буклях и корсете.

Аскетов с Теркиной дружил.
Покойный муж ее служил
И сочинил два-три романа.
Он громкой славы не нажил
И не сумел набить кармана.
Но Теркиной сдаваться рано:
Она открыла «институт
Для исправленья переносиц»
И скромно поселилась тут
Под кличкой «Рекамье фон-Косиц».
Так до сих пор ее зовут.

Любить неловко без косметик
В наш век. Давно известно нам,
Что дьявол первый был эстетик.
Об этом знал еще Адам.

Аскетов с Надей ночевали
У Рекамье. Поутру встали
И пили чай не торопясь.
Все трое весело болтали,
Шутила Наденька, смеясь.
На улицах стояла грязь,
Бульвары под дождем блистали,
И статуя на пьедестале
Покорно мокла, наклонясь.

К себе вернувшись, не застала
Домашних Наденька. Прошла
В чуланчик, где она жила
Бок о бок с теткой, постояла,
Потом в столе у генерала
Револьвер новенький нашла,
К виску холодный ствол прижала —
Короткий треск — и умерла.

Мы все на отпеваньи были
И на серебряный покров
Сложили несколько венков.
В слезах, под черным покрывалом
Стояла тетка с генералом,
Семь гимназических подруг
Образовали полукруг.
За ними встал король поэтов,

Известный Иоанн Аскетов,
В красе сложенных гордо рук.
(Креститься он считал излишним
И ниже сана своего.)
Неподалеку от него,
Румяная, подобно вишням,
Кусала губки Рекамье,
Теснилась к Надиной семье,
Платочек розовый терзала
И чуть на гроб не залезала.
При ней вертелся репортер.
Я слушал погребальный хор,
Я видел Наденьку Орлову:
В полусапожках и платке,
Она, смеясь, гнала корову
В глухом уездном городке.

1920

234. АННА

Всё та же сказка у меня.
Беру арабского коня,
Впрягаю с клячей водовозной
И ночью мчусь тропой морозной.
Куда ж, копытами звеня,
Несутся мерно конь и кляча?
Туда, где на рассвете дня
Святая тень проходит, плача.

. . . .

Бьют барабаны. — Кто идет?
Торжественно высокий вход

Замкнулся лестницею чинной,
И веет сыростью пустынной
Дворца торжественного свод.

Два гренадера у ворот.
— А вечер свежий. — Март. — Карета.
Пустить? — Ну, да... Княгиня это.

На мягком бархате кудрей
Блеснули пятна фонарей.
Атласной шубкою одета,
Виденьем розовым скользя,
Она порхает по ступеням
Навстречу предзакатным теням.
И тают призраки, грозя,
Над императорской столовой.

— Мне страшно. Ах, бежим! — Нельзя.
Со мною жребий мой суровый,
И чаши мне не миновать.
Но вы, чье имя благодать,
Вы мой хранитель — ангел Анна.

Как холодно! Как ночь туманна!
И вот спешит она опять
Вдоль величавых переходов,
Где сырость капает со сводов
И та же лестница ведет
Ее к подъезду. — Кто идет?
Бьют барабаны. Ждет карета.
Два гренадера у ворот.
. . . .

На кой ты мне? Слыхали это!
Пятак? Отваливай, урод.
Да что я, даром, что ль, ходила?
Гляди, опять не угодила,
А барин сердится: расход.

Навстречу розоватым теням
Туманным призраком скользя,
По мокрым шлепая ступеням,
Игриво дворникам грозя,
Спешит с базара городского
Кухарка Анна Табакова.
— Я, барин... — Погоди, нельзя.
— Вам орден вышел... — Что ж такого?
— С наградой, барин.
Егозя
перед барской спальной
с улыбкою миндальной
— Как же... орден, слышь,
Анна <...>*

У кровати
Сидит и бреется в халате
Преподаватель Павел Чиж.

— Опять переплатила. Ишь,
Семью копейками дороже.
Вот и вчера, и нынче тоже.
Ты, Анна, видно не глядишь.
— Грех, барин... Я ли... — В результате

* Оторван угол рукописи (*Примеч. составителя*).

Получится карманный шиш.
— Да нешто я... — Где сдача? — Нате.
— Неси скорее самовар.

Темно-малиновый футляр
Под ногтем щелкнул деревянно.
Эмалью рдяной блещет Анна
На синем бархате, как жар.

— Скажи мне, отчего ты, Пален,
Так озабочен и печален?
Тревога, заговор, пожар?
Ведь езуита мы прогнали.
Княгиня Анна не больна ли?
Я ей пожаловал звезду,
Тезоименной патронессе.
Как воронье кричит в саду...
По ком оно справляет мессы?

Но призрак прадеда Петра
Сегодня мне шепнул... пора.
Хвала Творцу... я не боюсь,
Я знаю: не погибнет Русь,
Пока над ней сияет Анна.
. . . .

— Ого — цыпленок, ростбиф, гусь.
И все за рубль? Как с неба манна.
Ну-ну. — Я, барин, так уж бьюсь,
Копейки лишней не истрачу.
— Спасибо. — Вот, извольте сдачу.
Полушечки не передать.
На пирожки купила сагу,

Яичек. Свежую навагу
Изжарю к ужину. — Кто там
Стучался в кухню? — Это вам
Слышь, из гимназии бумагу.
— К директору? Мундир сюда.
Да Анну поищи-ка, Анна.
В комоде нет ли? Вот беда.
Что, не нашла? А в тумбе? Странно.
Исчезла Анна без следа.
— Я, барин, вам найду, не бойтесь.

— Директор принимает? — Да.
И ждет. Да вы не беспокойтесь.
Вчера получен был донос.
Вы, вероятно, удивитесь...
— Чиж здесь? — Имею честь. —
Садитесь
И отвечайте на вопрос:
Как смели вы прийти без Анны?
Где орден, вам монархом данный?

— Я... я найти ее хотел,
Кухарка целый час искала...
— Ага, кухарка! Ну-с? — Пропала.
Чиж поперхнулся и вспотел.
— Не первый раз, уж извините.
Я отыщу. — Нет, погодите.

Директор грозно поглядел.
Как на иголках Чиж сидел
И всю, от слова и до слова,
Бумагу выслушал дрожа.

«Мещанка Анна Табакова,
Служа кухаркой молодого
Преподавателя Чижа,
Чтоб получать процент обманный
На рынке за съестной товар,
Брала хозяйский орден Анны
И с ним ходила на базар.
Торговцев уверяла лично,
Что царь пожаловал ей крест
За то, что стряпает отлично
И в пост скоромного не ест.
Когда ж проценты вымогала,
Она прикащиков пугала,
Что выгнать их из места может.
Не заодно ли с Табаковой
И Чиж сидельцам угрожал?»

Директор, гневный и багровый,
С бумаги поднял взор суровый,
Но Чиж без памяти лежал.

. . . .

По небу месяц пробежал
И, кроясь в сумраке белесом,
Играет призраком курносым,
Что на подушке губы сжал.
Шумят и каркают вороны.
Зловещих крыльев легионы.
Под ними воздух задрожал,
И рыхлый лед в саду сочится.
Всем этой ночью плохо спится.
Не видно стражи у ворот.
Как грозно величавый вход

Зияет темнотой чернильной,
Как дышит сыростью могильной
Дворца покинутого свод!

Стучатся. Ближе, ближе. Вот
Идут сюда. Стучатся снова.
Ломают дверь. Вот часового
Протяжный, безнадежный крик,
Шум, говор. В спальную проник
И свой удар нанес убийца.
Самодержавного мальтийца
Как страшен искаженный лик
На окровавленной кровати.
. . . .
— Без трех. — Я пас. —
Две пики. — Нате.
— Невероятно. Анну, слышь,
Таскала баба. — В результате
В отставку вылетает Чиж.
— Еще по рюмке. — Вышло кстати...
Племянника переведут
Сюда из Брянска. Попечитель
Мне обещал. —
Хорош учитель.
— А много в городе плетут
Об этой Анне. — Обе Анны.
Нет, как угодно, случай странный.
Оно и глупо, и смешно.
И как, скажите, не грешно
Интеллигенту, педагогу
С купцов утягивать гроши?

Да, наши нравы хороши.
— Ах, молодежь... Молитесь Богу.

У нас железную дорогу
Недаром провели в глуши.

Кто за вокзалом, в будке грязной,
Опухший, пьяный, безобразный,
Вздыхает о родном жилье,
Оборванный, в одном белье?

Он встал сегодня утром рано.
В волнах молочного тумана
К пути железному идет,
На рельсы голову кладет
И ждет, чтоб шпалы задрожали,
Уволенный учитель Чиж.

Уже вагоны ропотали
Коротким хохотом колес,
И фыркал поезд, точно пес.
Вдруг перед ним две тени встали,
Одна — исполнена печали,
Под мягким бархатом волос
Лазурью светит взор туманный,
И нежно на груди у ней
В сиянье розовых огней
Дрожит и рдеет орден Анны.
С ней рыцарь гневный, как гроза.
Из-под короны византийской
Горят огромные глаза,
Плащ развевается мальтийский,

Но грустью кроткой и живой
По-детски губы улыбались.

И у Чижа над головой
Вагоны с грохотом промчались.

. . . .

Ты скажешь, глядя на меня:
Зачем крылатого коня
Связал он с клячей водовозной,
Куда несется он так поздно,
Старинной упряжью звеня?

Мой путь окончен. Вот столица.
В соборе тихая гробница.
Среди державных мертвецов
Здесь Павел спит. Со всех концов
Спешат сюда молиться. Павел
Свою столицу не оставил.
Он родине помочь готов
И будет жизнь его сохранна,
Пока над ней сияет Анна.

Усталый Чиж в толпе слепцов
И нищих. Вот он, путь отцов.
Мужайся, загнанная кляча,
Беги, мечты свои храня,
Туда, где на рассвете дня
Святая тень проходит плача.

1925

ЦВЕТНОЙ ЗАНАВЕС

Пьесы

235. ПУШКИН В МОСКВЕ

Комедия

Л и ц а:

Василий Петрович З у б к о в, помещик, владелец полутора тысяч душ. Двадцати семи лет, среднего роста, полный. Держится спокойно, с достоинством; говорит плавно, ступает мягко. Одет в синий фрак под высоким кружевным жабо, при белом жилете.

Анна Федоровна З у б к о в а, жена его, урожденная Пушкина, двадцати трех лет, высокая, стройная красавица с греческим профилем и большими глазами; в черных буклях. Голос нежный и приятный, в манерах замечается сходство с мужем. В чепце и белом платье под турецкой шалью.

Софья Федоровна П у ш к и н а (S o p h i e), сестра ее, двадцати лет. Маленького роста, тонкая; вся в белом.

Александр Сергеевич П у ш к и н, их однофамилец; двадцати семи лет, коллежский секретарь, псковский помещик, литератор. Среднего роста, строен, худощав, в лице выражение живости и добродушия. Каштановые вьющиеся волосы à la Byron, английские бакенбарды. В манерах изящен, но держится непоседливо: при разговоре вскакивает и опять садится, ходит по комнате, сдержанно жестикулирует. Говорит звучным горловым баритоном, смеется звонко и заразительно. Одет в черный фрак с большими воротничками над черным широким бантом, в чулки и башмаки. На правой руке два перстня: большой с сердоликом и маленький с бирюзой.

Валериан Александрович Панин, неслужащий богатый дворянин, двадцати трех лет. Высокий, статный красавец; держится гордо, снисходительно щурясь в золотой лорнет. Завит, с высоко взбитым коком и подстриженными височками. Одет по последней моде: в коричневый фрак с перламутровыми пуговицами, белые панталоны и лакированные башмаки.

Денис Васильевич Давыдов, кавалерийский генерал-майор; сорока двух лет, очень моложавый, небольшого роста, полный, курносый, в усах и бакенбардах. Среди черных кудрявых волос по середине лба белеет седой локон. Говорит громким голосом, держится прямо. Походка быстрая, небольшими твердыми, при звоне шпор, шажками. На нем генеральский сюртук с тяжелыми литыми эполетами и огромным красным воротником; без шпаги; на шее Владимирский крест, на груди — Георгий.

Петр Андреевич Вяземский, князь, литератор, тридцати четырех лет, большой здоровый мужчина, слегка сутуловатый, с некрасивым умным лицом в очках. Причесан небрежно, производит впечатление человека, тяжелого на подъем. Говорит медленным басом, иногда насмешливо улыбается. В черном фрачном костюме.

Михаил Петрович Погодин, профессор Московского университета, магистр; двадцати шести лет, коренастый, с грубым простым лицом, смягченным приторной улыбкой. Причесан гладко. Стесняется, но хочет быть развязным; в движениях мешковат и неуклюж. Часто перебивает речь угодливым смехом. На нем вицмундирный фрак при высоком белом галстуке.

Никита, камердинер Зубкова, ворчливо-рассудительный почтенный старик в пудреном парике и красной ливрее.

Маша, горничная Зубковой, племянница Никиты, проворная белянка в розовом переднике и чепце.

Гости и гостьи, человек двадцать, без речей.

Действие в Москве в доме Зубковых, в декабре 1826 года.

На сцене гостиная барского дома в стиле empire. Дверь направо от зрителей ведет в переднюю, налево — в столовую. На просцениуме справа столик для чтения с двумя свечами под абажуром, перед столиком кресло. Налево небольшая ширма отгораживает выдвинутый вперед диван перед тлеющим сбоку камином. Подле ширмы — круглый стол и несколько кресел. С потолка спускается хрустальная люстра, на стенах — кенкеты. Против сцены стулья в несколько рядов; над ними, в простенке между окнами, большой масляными красками портрет Александра I.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Зубков, Никита, Маша.

Зубкова

Всё хорошо, да только стол не там.
Сказала я — правей. Как ты упрям.
Возьми и передвинь. Прими же свечи, Маша.
Вот так. И так оставь.

Никита

Известно, воля ваша.

Зубкова

Иди же к барину.

Никита

Не угодишь на вас.

(Уходит налево.)

Зубкова

А что же не зажгли кенкеты?

Маша

Никита сказывал...

Зубкова

Опять. Который раз?
Сейчас изволь зажечь. И вскрой конфеты.

(В продолжение последующей сцены Маша *зажигает кенкеты и хлопочет у круглого стола.* Зубков *и* Никита *входят слева.)*

СЦЕНА ВТОРАЯ

Зубков, Зубкова, Никита, Маша.

Зубков

Совсем забыла ты, мой друг, питье одно,
И очень важное.

Зубкова

Вино?

Зубков

Нет, не вино, —
А сахарной воды чтецу подать велели?

Зубкова

Ах, Боже мой, и в самом деле!

(*Никите*):

Поди в буфет-за сахарной водой.

*(*Никита *уходит направо.)*

Хочу тебе, Basile, еще в одном признаться:
Знакомство с Пушкиным не кончится бедой?

Зубков

Ха-ха! Смешно, мой друг, — уж нам ли опасаться?
Я сам был в крепости, и даже...

Зубкова

Ах!
Не вспоминай о страшных этих днях,
Не говори, нет, нет...

Зубков

Так Пушкин, хоть из ссылки,
Но от знакомства с ним беды нельзя нам ждать:
Остепенился он, пошел стихи писать,
И если враг кому, так разве лишь бутылке.

(Никита приносит воду и становится у дверей направо.)

Зубкова

Не понял ты меня совсем.
В наш век все ищут интересу.
Бывает он у нас, как думаешь, зачем?

Зубков

Не знаешь ты его, повесу!
Вовеки Alexandre не женится, поверь.
Да, точно — осенью он таял перед нею,
Зато теперь — враг злейший Гименею,
А завтра, слышал я, поедет к Вульфу в Тверь.

Зубкова

Но если вдруг Sophie?..

З у б к о в

Пустое: Панин
Сердечко ранил ей и сам смертельно ранен.

З у б к о в а

Не верите вы женскому чутью.
Нет, тут не в Панине, а в Сонюшке всё дело,
И Пушкин неспроста...

З у б к о в :

Чш! Тише!

(S o p h i e и П а н и н выходят слева.)

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

S o p h i e, П а н и н, З у б к о в, З у б к о в а, Н и к и т а, М а ш а.

S o p h i e

Я велела,
Вы волю выполнить должны мою.

З у б к о в

Уходишь ты, mon cher?

П а н и н

Сейчас вернусь с альбомом
Для Софьи Фед'ровны. Какой, однако, блеск!
Вы Пушкина честить собрались целым
домом.
Et vous avez raison. N'est ce pas —
c'est pittoresque?

З у б к о в

За это чтение ты будешь благодарен.
Отличные стихи.

(З у б к о в а, Н и к и т а
и М а ш а уходят налево.)

П а н и н

Одно я не пойму:
Что за охота лезть в *писатели* ему?
Ну, Полевой — купец, он так,
а Пушкин — барин.

S o p h i e

Но он поэт.

П а н и н

А я?

S o p h i e

И вы.

П а н и н

Да не такой.
Он раб толпы, а я творю для вас одной.

(Н и к и т а входит слева.)

З у б к о в

Что там?

Н и к и т а

Пожалуйте.

З у б к о в

Надень перчатки.

(Уходит с Н и к и т о й налево.)

Sophie

Его стихи легки и гладки.

Панин

Услышите его, забудете меня.
Уж не влюблен ли в вас наш
стихотворец хилый?

Sophie

Он? нет.

Панин

А вы?

Sophie

Он очень, очень милый.

Панин

Сие признание ценя,
Я не ревную вас к журнальному герою.

Sophie

Увы! я видела его всего раз пять.

Панин

Прощайте. Многое имею вам сказать,
И тайну некую открою.

Sophie

Я слушаю.

Панин

Нет, после. И тогда...

Sophie

Что?

П а н и н

Вы узнаете.

S o p h i e

Сегодня?

П а н и н

Да.

(Уходит направо.)

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

S o p h i e (*одна*)

Что хочет он сказать? Загадка за загадкой.
Ужель услышу я признания слова?
От взора страстного кружится голова,
И сердце бьется сладко, сладко...
И он сдержать волнения не мог.
Нет, не кокетка я, но лестно, право,
Томить поклонников и видеть их у ног.

(Берет со стола книгу и садится у камина.)

Но Пушкин знаменит: за ним молва и слава.
В театре, помню я, в тот вечер не Фингал,
А Пушкин общее вниманье привлекал.
Едва вошел, все зашептали:
«Смотрите, Пушкин, Пушкин! вон он, вон!»
Лорнеты поднялись со всех сторон,
И даже в ложах дамы встали.
Тогда он и меня увидел в первый раз
И с жадностью глядел, не отрывая глаз.
Basile привел его к нам в ложу и представил.

Не знаю — говорят, он человек без правил
И Государь его из милости простил.

(Маша входит слева.)

СЦЕНА ПЯТАЯ

Sophie

Ах, Маша, это ты?

Маша

Я, барышня. Уж то-то
Была нам нонече работа!
Тот Пушкин, барышня, к вам
в воскресенье был,
Такой веселый, кучерявый?
Уж вот бы мне послушать, право.

Sophie

В дверях послушаешь. Никиту позови.

Маша

Он не охотник до любви.

Sophie

Какой любви?

Маша

Да вот, в людской болтают,
И слыхивала я от дядюшки не раз,
Что господа всегда одну любовь читают,
А что от божества — то писано про нас.
Вот Валерьян Лександрыч тоже,

Как он, бывало, вам стишок произнесет,
Выходит так-то складно, гоже...
Уж Валерьян Лександрыч как взойдет,
Так ровно солнышко засветит,
И то намедни мне Полина говорит,
Что Валерьян Лександрыча как встретит,
Вся с головы до ног горит.
По всей Москве искать — не сыщешь краше:
Богат, пригож, как есть на всем виду.
Уж коль в приданое за вами я пойду,
Так тут уж, право слово...

S o p h i e

Маша!
Ступай в переднюю. Скорей!
И больше пустяков мне говорить не смей.

М а ш а

Простите, барышня, не буду, — глупость наша!

(Уходит направо, в дверях встречается с П о г о д и н ы м.)

СЦЕНА ШЕСТАЯ

S o p h i e, П о г о д и н.

S o p h i e

Ах, monsieur Погодин, вы?

П о г о д и н

Неужто никого у вас?
А я летел и думал, все уж в сборе.

S o p h i e

Садитесь вот сюда.

(Садятся у круглого стола.)

П о г о д и н

Благодарю. Я в горе:
С цензурой всё не сладимся никак.
По совести скажу, Мещерский наш чудак,
Из-за него всё дело стало.

S o p h i e

Всё беспокойство от журнала?

П о г о д и н

Помилуйте, теперь сам Пушкин прикатил,
Печатать бы пора.

S o p h i e

Здорова ли кузина?

П о г о д и н

Не знаю-с, к князю я давно не заходил.
А вы по-прежнему всё чтите Ламартина?

S o p h i e

О, Ламартин!

П о г о д и н

Хорош, да ведь чужой.
Да, на святой Руси поэт французский славен.
А Богданович? А Державин?
Читали?

S o p h i e

Скучно.

Погодин

Вот ведь грех какой!
Не знать словесности российской нам не стыдно:
У нас Гюго поэт и Ламартин поэт,
А до Державина, глядишь, и дела нет.
Сказать по совести, обидно.

(Давыдов и Вяземский входят справа, Зубков и Зубкова слева.)

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Sophie, Погодин, Давыдов, Вяземский, Зубков, Зубкова.

Зубкова

Денис Васильич! Вновь в Москве!
Mon prince!

Зубков (*Погодину*)

Всё лекции да книги в голове.

Вяземский

Профессор всюду он — на кафедре, в гостиной.
Читает барышням с такой серьезной миной!

Давыдов

Из Грузии, едва с похода возвратясь,
К вам, Анна Фед'ровна на чтенье попадаю.

Зубкова

Я рада, что опять вас у себя встречаю.
Садитесь, милости прошу. Садитесь, князь.

(Все садятся у круглого стола.)
Сражались долго вы, как следует герою.

Давыдов

Зато в кибитку прямо с бою
И прилетел в Москву, насытя сабли злость.

Зубкова

Денис Васильич, вы с похода, —
редкий гость.
Поведайте же нам про боевые схватки,
Мы любопытствуем услышать кой о чем.

Зубков

Как избежали вы кавказской лихорадки?

Давыдов

Гусарский пунш у нас с утра кипел ключом
И исцелял и раны и недуги.
Теперь мне вся Москва приятели и други.
Узнали, что сам Царь послал меня на бой:
Ласкаются наперебой.
Умел бы подличать — имел бы барыши я.

Зубков

Покудова не собрались большие,
Пойдемте, господа, со мной
Сюда, к камину.

(Уводит гостей за ширму к дивану. Зубкова и Sophie идут навстречу вошедшей гостье и вместе с ней уходят налево. В продолжение всей сцены гости и гостьи проходят поочередно из передней в столовую.)

В я з е м с к и й (*Давыдову*)
Вот редактор наш, Погодин.
Сбирается к тебе.

П о г о д и н
Почту себе за честь.
Когда позволите?

Д а в ы д о в
Лишь утром я свободен.
Приехал отдохнуть, а некогда присесть.
Стихи рассыпались, и не варится каша.

П о г о д и н
Надеяться не смею, ваше
Превосходительство,
Московский вестник нам
Пером блистательным своим и вы...

Д а в ы д о в
Я дам.
Наведайтесь на днях.

П о г о д и н
Премного благодарен.

В я з е м с к и й (*Зубкову*)
Само собой, вчерашний раб, татарин,
И преступления не смоет никогда,
И вечно совестью тревожим.
Тут Пушкина сравнить мы
с Шакспеаром можем.
Мицкевич говорит...

Д а в ы д о в

О чем вы, господа?

З у б к о в

О драме Пушкина.

(Уходит налево.)

Д а в ы д о в

Ты слышал «Годунова»?

В я з е м с к и й

Я с наслаждением его услышу снова.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Д а в ы д о в, В я з е м с к и й, П о г о д и н, З у б к о в, П у ш к и н.

З у б к о в

Уж гости собрались, а Пушкина все нет.
А? вот он!

В я з е м с к и й

Легок на помине!

Д а в ы д о в

Приветствуем тебя, любезнейший поэт!

П у ш к и н

Здорово, господа. Есть огонек в камине?
Признаться, я озяб.

Д а в ы д о в

Погрейся, милый друг,
У камелька.

(З у б к о в уходит налево.)

П у ш к и н

А, Михаил Петрович!
Весь в сборе наш журнальный круг.

П о г о д и н

А дядя ваш, Василий Львович?

П у ш к и н

Приехать обещал. Послушай, Асмодей,
Итак, ты все-таки союзник Полевого?

В я з е м с к и й

Союзник — не слуга.

Д а в ы д о в

Князь, ты чудак, ей-ей.
Да что вас с ним связало?

В я з е м с к и й

Слово.

П у ш к и н

Упрям ты, Асмодей. Пример тебе — Денис.

Д а в ы д о в

Денис всегда с тобой. Душа моя, нагнись,
Я расскажу тебе. Намедни, на параде...

(Рассказывает вполголоса, П у ш к и н хохочет).

П о г о д и н

Вы этак сами, князь, останетесь в накладе,
Коли заглохнет *Вестник* наш.

(З у б к о в а и S o p h i e входят слева.)

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Давыдов, Вяземский, Пушкин, Погодин, Зубкова.

Зубкова

Хозяйка ждет да ждет поэта,
А он затеял с ней cache-cache.
Скажите, как учтиво это!
Мы рады видеть вас.

Пушкин

Я весь к услугам дам.
Их благосклонное вниманье
Награда мне.

Зубкова

Пойдемте к нам.

(Уходит с Sophie и Пушкиным налево.)

Вяземский

Sophie — прелестное созданье.
Как оживленна, весела!

Давыдов

Меньшая Пушкина как куколка мила.

(Зубков входит слева; Никита, потом Маша справа.)

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

Давыдов, Вяземский, Погодин, Зубков, Никита, Маша.

Зубков

Чай ждет вас, господа. Прошу. А я за вами.

(Гости уходят налево.)

Никита!

(указывает на кресло и уходит за гостями).

Н и к и т а

Знаем сами.

Машутка, прибери. Велели, знать.
Начальством, стало быть, приказано: читать.

М а ш а

(приводит в порядок мебель)

Слышь, дядюшка, граф Пушкин, сочинитель,
Стихами говорит.

Н и к и т а

Стихов я не любитель.
Стихи — пустое баловство.

(Уходят направо, S o p h i e выходит слева.)

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

S o p h i e *(одна)*

Я в изумлении. Какое божество?
На что он дал намек такой красноречивый?
Задумаю, что выйдет, да иль нет.

(Берет книгу.)

Выходит: да.

(Садится у камина, задумавшись.)

Вот истинный поэт:
Любезен и умен. Как жаль, что некрасивый!
Du reste, il n'est pas mal. Peut-être trop timide.

(П у ш к и н выходит слева.)

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Sophie, Пушкин.

Пушкин (*про себя*)

Сказал, что голова болит,
А сам искать красавицу пускаюсь. (*Вслух*)
Mademoiselle Sophie!

(подходит к ней и садится подле).

Sophie

Monsieur Пушкин! Я пугаюсь.

Пушкин

Пугаетесь? Ужель меня?
Иль вам наговорить успели,
Что я опаснее огня?

Sophie

Вы сразу подошли и сели
Внезапно так.

Пушкин

Вы знаете, сейчас
Я вас искал. И нахожу как раз
Здесь, в одиночестве, в гостиной, у камина,
С заветным томом Ламартина.
Судьба благоволит.

Sophie

Прочтите что-нибудь, —
Последние стихи.

Пушкин

Хотите? Хорошо же.
Но знайте:

Вам они посвящены.

S o p h i e

О, Боже!

Как лестно мне. Читайте ж.

П у ш к и н

Зимний путь.

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...

Ни огня, ни черной хаты...
Глушь и снег. Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне.

Скучно, грустно... Завтра, Нина,
Завтра, к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь, не наглядясь.

Звучно стрелка часовая
Мерный круг свой совершит,

И, докучных удаляя,
Полночь нас не разлучит.

Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля, смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик.

(Молчание. S o p h i e сидит, потупясь.)

Вот у камина вы, и я здесь подле с вами.
Но сердце стеснено ревнивыми мечтами:
Докучная толпа ворвется к нам сейчас.
Sophie, вы видите: люблю я вас.
О, пусть я видел вас всего четыре раза,
Пусть все мои права: ваш мимолетный взор,
Улыбка беглая, поклон, пустая фраза, —
С решением судьбы бессилен спор.
Мне двадцать восемь лет. Послушайте,
я молод
Не первою весной. Я вытерпел давно
И бури юности, и зрелой жизни холод.
И в дружбе, и в любви несчастлив я равно.
В безумной праздности мои погибли годы,
В изгнании провел я жизни лучший срок,
Освобожденный вновь, боюсь своей свободы,
Без ласки, без семьи, как странник, одинок.

(П а н и н показывается в дверях направо.)

А между тем мой нрав, упрямый, горделивый,
То раздражительный, то слабый и ревнивый,
Грозит мне гибелью. В моей крови
Струится Африки полдневной
пламень знойный.

Я — раб моих страстей. Любви, одной любви
Ищу и жажду я душою беспокойной.
И вот — встречаю вас. Как бурей
легкий лист,
Я страстью поглощен. Зарей могучей
Мне вновь блеснула жизнь. Бегут
ночные тучи,
И вихря зимнего стихает буйный свист.
Вы — Провидение. Вас небо мне послало.
Небесным ангелом вы снизошли ко мне,
Как воплощение земного идеала.
Вы возвращаете меня моей весне.
О, будьте же моей! Уверьтесь в вашем друге.
Никто не в силах вас любить, как я люблю.
Познавши счастие, я жизнь благословлю
В тот день, когда вам дам название супруги.
Покорствую всему, что мне назначит рок.
Решайте, да иль нет. Я жду у ваших ног.

Sophie

Что я скажу ему? О? Боже! Я не знаю...
Уйдите, ах!

Пушкин

Я ожидаю.

(Панин подходит.)

СЦЕНА ТРИНАДЦАТАЯ

Sophie, Пушкин, Панин.

Панин

Monsieur Пушкин, вам отвечу я.

Sophie

Ah, Valerien!

Панин

Она — моя.

Пушкин

Какое право вы имели?

Панин

Сейчас узнаете.

Пушкин

Жду завтра ваш ответ.

Панин

Хотите драться на дуэли?
О, нет!

Пушкин

Мальчишка! Смеешь ты!..

Sophie

Молю вас: ради Бога,
Не трогайте его.

Панин

Еще немного.
Короткой будет речь моя.
Sophie, я вас люблю. Молчал два года я
И ныне объявляю гласно:
Согласны ли вы быть моей женой?

S o p h i e

Согласна.

(Постепенно приближаются шум, говор, смех. Из столовой показывается все общество; дамы впереди, мужчины сзади. З у б к о в выходит на середину комнаты.)

СЦЕНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В с е и З у б к о в.

З у б к о в

Mesdames et messieurs! Знаменитый наш поэт Александр Сергеевич Пушкин дал нам обещание посвятить нынешний вечер чтению прелестной комедии своей «Царь Борис Годунов». Александр Сергеич! Мы все жаждем с нетерпением вас услышать.

(Гости шумно усаживаются против сцены. П у ш к и н подходит к столу, садится и развертывает рукопись.)

236. РЕПЕТИЛОВ

Монолог

Семь суток из Москвы тащил меня возок.
Вчера чуть свет проснулся: Питер!
Ах, в пожилых летах и этот путь далек:
Нос отморозил я и воротник повытер.
Ухабы, холодно, на станциях клопы,
Купцы какие-то, чиновники, попы,
Задержки в лошадях. Приехал и скучаю.
Не веселит меня столичной жизни ход.
Вчера нечаянно вдруг Пушкина встречаю:
В бобрах и с тросточкой по Невскому идет.
Обрадовался, страсть. И руку жмет,
И зубы скалит, и зовет на чашку чаю.
Жене представлю, говорит,
А сам, наверно, уж наскажет ей такое,
Что в шею гнать она меня велит.
Нет от приятелей покоя.
Театр, один театр, вот пища для души.
Актеры умницы, актрисы хороши.
Конечно, Щепкин есть в Москве у нас, Мочалов.
Да только водевиль московский слаб,
А здесь он пенится и бьет, как из бокалов.
Ведь сам Великий князь пред Асенковой раб.
Она богиня театралов
И Дюр соловушкой звенит.
Жаль, нет Рязанцева. Бедняк давно забыт,

А комик был, каких здесь нету.
Тогда он в бенефис поставил эту,
Ну, «Cosa rara»: храбрый рыцарь Тит
В плаще, со шпагою, закрыв ладонью ухо,
Орет на весь театр вот так: «Оплеуха
Испанцу Титу
Во всю ланиту!»
Смех неописанный. Да, вот вам новость, ух —
Перевести позвольте дух!
У Вольфа пирожки сейчас мы с Дюром ели
И слышали последний слух,
Что Пушкин ранен на дуэли.
Досадно. Как же так? Вчера меня он звал,
Как возвращался я со взморья,
И даже адрес записал:
На Мойке, дом Волконского Григорья.
Еще не било девяти,
Попробую к нему пойти.
Дуэль опасная забава.
Коль жив он, хорошо, коль помер, жалко, право.

1911

237. КАМЕРИСТКА

Водевиль

Л и ц а:

П о л и н а, балетная актриса.
Ж а н, ее обожатель.
Ж а к, молодой гусар.

Действие в Царском Селе, во дни Александра Первого, на даче Полины, летом. На сцене гостиная с большим посередине окном. При поднятии занавеса Ж а н из окна заглядывает в гостиную.

Ж а н

Полина, дома? Спишь? Полина! Всё равно:
«Гони природу в дверь, она влетит в окно».

(*Лезет в окно.*)

Однако где ж она? Ужели задремала?
За ширмой никого. И спальная, и зала,
Всё пусто. Ключ с собой хозяйка унесла.
Какие новости! Куда ж она ушла?
Сама звала меня пить кофе за пикетом.
Ах, это Царское! Как здесь несносно летом,
Особенно теперь, когда в Варшаве Двор.
Письмо?

(*Берет со стола письмо и читает.*)

«Любезный Жан. Покамест до сих пор

Всё камеристки я себе не отыскала
И ухожу сейчас на поиски сначала.
Пожалуй, подожди. Вернусь чрез полчаса.
Полина».

Гм!.. Ну, да... ну, да... так, так... c'est ça.
Припоминаю, да... она мне говорила:
Марфушка в пятницу ей насмерть нагрубила
И выгнана вчера. Признаться, не пойму,
Что делать мне теперь. Ждать скучно одному,
Назад в окошко лезть уж вовсе глупо будет:
Увидят фрейлины и девочку осудят.

(Стук в дверь.)

Что? гости? Кто это стучаться смеет так?
Сейчас посмотрим.

(Смотрит в окно.)

Ну! Как будто это Жак?
Зачем бы быть ему? В параде и с букетом.
Жак, Жак, поди сюда!

Ж а к

(*Подходит к окну*)

Ты здесь?

Ж а н

Не вижу в этом
Особой странности.

Тебя же первый раз
Здесь застаю в гостях, и в неурочный час.
Пожалуй, объяснись.

Ж а к

Зачем такая мина?

И что мне объяснять? Ты Жан, а не Полина.
Лишь ей я выскажу...

Ж а н

Ха-ха! Ну, лезь в окно!

Ж а к

В окно? В уме ли ты?

Ж а н

Да двигайся, бревно!
Живее шевелись, не будь упрям, как идол.

(Ж а к влезает в окно.)

Ну, здравствуй, милый друг. Теперь
себя ты выдал,
И странный твой визит я разгадал вполне.
Глаза потуплены, и щеки как в огне,
Вздох томный, глупый вид, с букетом
в пол-аршина.
Скажи-ка: нравится тебе мамзель Полина?

Ж а к

Ах!

Ж а н

Так: воздыхателям при ней отбою нет.
Влюблен?

Ж а к

Ах!

Ж а н

Не вздыхай, а помни мой совет:
Коль истинно успеть желаешь у актрисы,

Букеты ей носи не в дом, а за кулисы.

Жак

Ах, Жан, хоть вправду б ты советом мне помог.
Ты знаешь: с детских лет живу я одинок.
Родителей лишась, опекуном суровым
Преследуем во всем, я изнываю...

Жан

Словом,
Ты хочешь жалобу Полине принести
На дядюшку?

Жак

Пусти!

Жан

Обиделся.

Жак

Пусти!

Жан

Шучу я; не сердись, любовник идеальный,
И повесть продолжай.

Жак

Мне нрав сентиментальный
Самой натурой дан. Прочтя Карамзина,
Рыдал весь вечер я. Душа моя нежна,
Как у Жуковского. Я истинно тоскую,
Что, в службу поступя, изведал долю злую.
Какая жизнь в полку? Дуэли, кутежи,
Ученья вечные; не хочешь, а служи.

Театр, один театр была моя отрада.
Ах! Там увидел я...

Жан

Не продолжай, не надо.
Что дальше, знаю сам. В Полину
ты влюблен,
Вздыхал, ухаживал и нынче приглашен
К ней на свидание. Вы полагали оба,
Что я не стану ждать!

Жак

С чего такая злоба?
Ты сердишься? Mon cher, послушай до конца.

Жан

Так вот зачем ты так стучался у крыльца!

Жак

Да нет же...

Жан

Знаю всё!

Жак

Я сам впервые ныне
Хотел представиться. Я незнаком Полине.

Жан

Ты шутишь?

Жак

Нет. Увы! Из кресел, сам не свой,
Слежу я каждый день, как бабочкой живой

Порхает дивная с пленительной улыбкой.
Извивы нежных плеч, движенья ножки гибкой
Ловлю я, но едва под восхищенный плеск
Опустит занавес свой пестрый арабеск,
Я полон робости. К ногам мамзель Полины
Ни пышного венка, ни фруктов, ни корзины
С цветами я еще ни разу не принес.

Жан

Ну, дальше.

Жак

Истомясь от непрерывных грез,
Пришел к решенью я, что жить
нельзя, конечно,
Покудова моей она не станет вечно.

Жан

Решенье умное, а ты еще умней.
«Полина! вот букет: я твой, ты будь моей».
Как просто и легко! Да ты, брат, прямо гений.

Жак

И вот, владельцем став наследственных
имений,
Полине руку я решаюсь предложить.

Жан

Ха-ха!

Жак

Смеешься ты?

Жан

Ха-ха-ха-ха!

Жак

Любить,
По-твоему, смешно?

Жан

Прости, но в смехе этом
Ты виноват, мой друг. Тебе бы быть поэтом.
В супруги ты себе танцорку хочешь взять?
Тогда простись с полком.
Тебя не будут знать.

Жак (*гордо*)

Препоной быть ничто в моем не может браке.
Мне двадцать один год. Чрез месяц я —
во фраке.
В отставку и домой. Мы проживем и так.
Пять тысяч душ крестьян...

Жан

Пять тысяч душ? Чудак!
И с ними в кабалу идти тебе охота?
Пока не прожился, будь холост из расчета,
Через женитьбу вновь сумей богатым стать.
Возьмешь приданое, тогда кути опять.

Жак

Ах!

Жан

Ну, надежды нет: погиб мой Жак.

Жак

Богиня!
Прелестная!

Ж а н

Дурак!

Ж а к

Души моей святыня!

Ж а н

Несчастный! Что ж, она за дурака пойдет
И станет барыней. Мальчишка пропадет,
А я у всех в глазах останусь
с длинным носом.
Нет, буду действовать, хоть силой, хоть
доносом,
А уж Полину я ему не уступлю.
Да, вот! какая мысль... И точно!

Ж а к

Я люблю!

Полина, милая!

Ж а н

Жак!

Ж а к

Я люблю...

Ж а н

Да, знаю,
И, чтоб спасти тебя, сегодня ж обещаю,
Как старый друг ее, свести обоих вас.
Скажи, она тебя видала?

Ж а к

Только раз

Я встретил в Павловске нечаянно Полину.
Хотел пройти, взглянуть — и спрятался
в куртину.
С тех пор не виделись.

Ж а н

Ребенок. Хорошо:
От счастья вашего мне ni froid, ni chaud,
Но я берусь тебя посватать.

Ж а к

Жан! Мой милый,
Merci! Ты будешь мне отцом родным.
Помилуй:
Я в мыслях трепещу наедине с ней быть,
А как настанет час о деле говорить?
Но знай: коль скоро всё падет, я сам
в порыве яром
Жизнь ненавистную прерву одним ударом.

(Вынимает пистолет.)

Ж а н

Ого! Да он и впрямь. Ну, слушай, Жак. Теперь
Ступай скорее в сад; постой, не в эту дверь.

(Толкает его в окно.)

К фонтану! Жди меня у башни. Той порою
Я ваше счастие невидимо устрою.

(Ж а к прыгает в окно.)

Отправил, наконец. Счастливец этот Жак:
Богач и юноша, красавец и дурак,
Ну, словом, идеал супруга для Полины.

Что может быть смешней влюбленного
мужчины?
Пред бабьей юбкою он бессловесный раб.
А сколько умников погибло из-за баб!
Нет, Жака я спасу. Тут быть ему не место.
Жених негодный он. А вот идет невеста.

(*Входит* П о л и н а.)

Полина, наконец!

П о л и н а

Жан! Здравствуй, милый друг!
Искала девушки надежной для услуг.
Была у Машеньки, к Истоминой таскалась,
Ну, просто сбилась с ног.

Ж а н

И что же?

П о л и н а

И осталась
Без камеристки, да. Пришел ты кофе пить
И должен будешь сам себе его варить.

Ж а н

Не надо. Я сейчас поправлю разом дело.
Мне Зина давеча сказать тебе велела,
Что девушку свою сегодня же пришлет.

П о л и н а

Спасибо, миленький.

Ж а н

Да только...

П о л и н а

Что?

Ж а н

Хлопот

Особых с нею нет, а сшить тебе придется
Костюм ей.

П о л и н а

У меня одежа-то найдется:
Марфушкин в сундуке целехонек наряд.
Придет, оденется.

Ж а н

Помочь тебе я рад
И к Зине платье сам готов снести на дачу.

П о л и н а

Спасибо, милый Жан.

(*Обнимает его.*)

Ж а н

Пусти, не то заплачу.
Пожалуй, девка здесь дороги не найдет.
Я приведу ее.

П о л и н а

Спасибо, мой урод.

(*Ж а н берет узел с платьем и уходит.*)

Устала, мочи нет. А тут опять к театру
Готовиться изволь. Ломаю «Клеопатру»,
А, чертов сын, Дидло ломает мне бока.
Уж август на носу. Танцуй себе, пока
Носки не затрещат и не заломит ноги.
Ох, репетиции куда как стали строги!
А нынче важный день. Граф Горич, говорят,

Приедет вечером. И холост, и богат.

(*Дремлет на диване. Входят Ж а н и Ж а к, переодетый камеристкой.*)

Взойдите. Уж привел. Как звать тебя?

Ж а к

Малаша.

П о л и н а

Служить умеешь?

Ж а к

Да-с.

П о л и н а

Во рту-то словно каша.

Ж а н

С деревни только что: стесняется она.

П о л и н а

Ты что-то, я смотрю, юлишь, как сатана.
Не краля ли твоя? Тебя на это станет.
Коль деревенская, так, верно, не обманет.

Ж а к

Mon Dieu! Что слышу я! Какой ужасный тон!
А с ним она на ты...

П о л и н а

Малашка, выйди вон.

(*Ж а к уходит.*)

Ж а н

Скажи мне, душенька...

П о л и н а

Да что она, немая?

Ж а н

Так, деревенщина.

П о л и н а

Как солдафон, прямая,
И не глядит в глаза...

Ж а н

Ого! пора спешить.
Прощай покудова.

П о л и н а

Извольте в девять быть.

(*Ж а н уходит.*)

Малашка!

Ж а к (*входит*)

Барыня...

П о л и н а

Не отвечать без спросу.
Смотри повеселей, чтобы не вешать носу.
Любовник есть или нет? Сейчас же говори.

Ж а к

Любовник? Ах, нет, нет...

П о л и н а

Ну, то-то же, смотри:
Я эти правила престрого соблюдаю.
Чуть хахаль завелся, я девку выгоняю.

Беспутства у себя никак не потерплю.
Ты слышишь?

Жак

Слушаю.

Полина

И сплетен не люблю.
А потому не смей болтать, с кем я бываю,
Кого не в очередь в постели принимаю,
Когда кто ночевать останется порой.

Жак

О Боже!

Полина

Что ты там бормочешь?

Жак

Так... с собой.

Полина

Поди, согрей воды для ванной, да живее.
Вот букли, на, завей. И принеси скорей.

(*Снимает букли.*)

Жак

Ах!

Полина

Пеньюар сюда! Рубашку приготовь.
И кофей завари. Ступай.

Жак

Моя любовь!

(*Уходит.*)

П о л и н а

Ах, если б Горича да встретить на гулянье!
Пятнадцать тысяч в год! Даст две
на содержанье.
Булавки, камушки и прочее добро.
Семь в ассигнациях и две на серебро.
Готова ванная?

Ж а к (*входит*)

Готова-с.

П о л и н а

Ну, Малашка,
Иди, сажай меня. Где чистая рубашка?
Что мнешься? Ну, пошла!

(Ж а к уходит, за ним П о л и н а; тотчас она выскакивает обратно.)

Ах, шельма! Ах, урод!
Согрела воду мне! Холодная, как лед!
Дрянь, деревенщина! Чего воротишь рожу?
Ну, так мне холодно, как будто сняли кожу.

Ж а к

Простите, барыня, не знала я...

П о л и н а

Молчать!
Подай мне зеркало. Марш букли завивать!
Постой. Румяна дай, сурьму, духи, белила.

Ж а к

Она румянится!

П о л и н а

Где шпильки? У... кобыла!

Ж а к

Quel mot!

П о л и н а

Бельмо? Так ты к тому же и слепа.
Ну, удружил мне Жан!

(*Ж а к рассыпает шпильки. П о л и н а его щиплет.*)

Ж а к

Pardon! je ne peux pas!

П о л и н а

Тварь косолапая, рассыпала.

Ж а к

Простите.

П о л и н а

Ну, живо подобрать.

(*Ж а к подбирает и рассыпает вновь.*)

Еще!

Ж а к

Как вы хотите...

П о л и н а

Без спросу барыне не смеешь отвечать!
Вот, на тебе! Вот, вот!

(*Бьет его туфлей по лицу.*)

Ж а к

Ай! Ай!

(*Убегает.*)

П о л и н а

Парик подать!
Ох, уморила, тварь. Ну, будь она моею,
Я, кажется, бы ей сейчас свернула шею.
Малашка! скоро ли?

Ж а к

(*приносит букли*)

Пожалуйте, готов.

П о л и н а

(*Надевает букли перед зеркалом.*)

Что это?! Боже мой! И вас не бить, скотов?!..
Не знаешь, не берись. Бессовестная дура.
Испортила, сожгла. Пропала куафюра!

Ж а к

Я, барыня...

П о л и н а

Молчи! Я знаю: все назло
Хотят, чтоб с Горичем опять не повезло.
Интриги гадкие мне ваши надоели.
Постой ты у меня. Что это, в самом деле?

(*Садится у стола и пишет.*)

Сейчас квартальному записку напишу
И выпороть тебя за дерзость попрошу.

Истоминских интриг известна мне причина,
А Зинка будет знать...

Ж а к

Мадмуазель Полина,
Pardon, я не хотел...

(*Расстегивает кофту.*)

П о л и н а

Что? Ах! Мужчина! Вор!
Переодетый! Здесь! Гусар! Какой позор!
Всё видел!

(*Падает в обморок. Ж а к поспешно раздевается.*)

Ж а к

Я пропал! Дойдет до генерала.
В отставку завтра же!

(*Убегает.*)

Ж а н (*Заглядывает в окно*)

Как тихо в доме стало.
Три зайца наповал: расстроен глупый брак,
Разрушен идеал и поумнел дурак.

Занавес

1911

238. АГНЕЦ

Трагедия

Лица:

Царь Николай Второй.

Царица Александра.

Мария, вдовствующая Царица.

Никифор, думный дворянин.

Петр, окольничий.

Димитрий, воевода.

Князь Сергий, земский боярин.

Борис, вотчинник.

Григорий, мужик.

Бояре, дворяне, воины, земские люди, крестьяне, стольники, рынды, сенные девушки, слуги.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Терем во дворце. Входят обе Царицы.

Мария

Нет, дочь моя, я вижу, ты недаром
Пришла ко мне.

Царица

Я, матушка, хочу...

Мария

Постой, присядем у оконца. Скоро
Вернется Царь. Все яблони в цвету,

Чу, соловей опять защелкал. Помню,
Когда супруг привез меня на Русь
Из-за моря, сижу я здесь, бывало,
За пяльцами и радуюсь и плачу
И слушаю кремлевский красный звон.

Ц а р и ц а

Ты, матушка, застала в нашем царстве
Святые дни. Воистину велик
Был Александр.

М а р и я

Он создал тишину.

Ц а р и ц а

Бесценное ты выронила слово.
Он создал тишину, но неужели
Не чуешь ты, что над его созданьем
Уж занесен губительный удар?

С е н н а я д е в у ш к а (*в дверях*)

Царица-матушка, к тебе с поклоном
Никифор свет Петрович.

М а р и я

Пусть войдет.

(*Входит Н и к и ф о р*)

Что нового?

Н и к и ф о р

Хорошего не много.

М а р и я

Толкуют, будто к земскому собору
Власть отойдет.

Никифор

Об этом знает Бог.

Царица

С тех пор, как на востоке спор лукавый
Затеял желтый, косоглазый враг,
В горячке бьется Русь. И вещий мрак
Пророчит для нее конец кровавый.
Грядущее грозит и нам, и ей
Огнем войны от вражьих рубежей,
Ударами предательских кинжалов,
Словами злобными листов подметных.
Сердца кипят, волнуются умы.
Да разве Русский Царь в такую пору
Откажется от Богом данных прав?

Никифор

Помилуй Бог. Уступка за уступкой —
Погубишь всё. Не в силах править чернь,
Как не дано кроту взирать на солнце, —
Один монарх с орлиной высоты
Провидит в ходе роковых событий
Их неземную цель.

Царица

О, если б!

Сенная девушка (*в дверях*)

Царь!

(*Входят* Царь *и* Петр *в охотничьих кафтанах.*)

Царь

Царица, здравствуй.

Царица

Живи и здравствуй,
Царь-государь.

Мария

Удачна ли охота
Твоя была?

Царь

Заполевали мы
Две пары лебедей, десяток уток
Да цаплю. Лебедей тебе послал
Я, матушка, на ужин.

Мария

Благодарствуй.

Царь

Тебе, супруга, уток, а Петрович
Пусть цаплю съест.

Никифор

Спасибо и на этом.

Мария

Устал ты, чай, охотник мой державный.

Царь

Я отдохну, а вы подите с Богом.
(*Царица и Никифор уходят.*)
Я слушаю.

Петр

Великий Государь,

Ты ведаешь, как горестно и трудно
Болеет Русь. В ее недвижном теле
Застыла кровь. Что времени потребно,
Мы не даем народу. Оттого
Великие шатания и смуты...

Ц а р ь

Я слышу шум.

П е т р

(*подходит к окну*)

К дворцу валит толпа.

(*Вбегают обе* Ц а р и ц ы, *стольники, сенные девушки и* Г р и г о р и й.)

Г о л о с а

— Смотри, алый стяг! — За ним хоругви.
— Еще, еще! — Что делать? — Государь!

Ц а р ь

Оставить их.

Ц а р и ц а

Как можно?

Г о л о с а

— Чу, стреляют!
— Ах, грех какой! — Вот грех! Помилуй Бог!

(*Входит* Д и м и т р и й *в полном вооружении.*)

Д и м и т р и й

Великий Царь, не прикажи казнить,
Дай слово молвить. Стражею дворцовой

Рассеяна мятежная ватага
Ослушников указа твоего,
Что шли к тебе с бездельными речами.
Ее привел сюда расстрига-поп,
Но обо всем мои дознались люди
И отстояли Кремль. Вот голова
Изменника.

(*Воин вносит на копье окровавленную голову.*)

Царь

Благодарю тебя.

(*Царица падает.*)

Голоса

— Царице дурно! Обморок с Царицей! —
За лекарем!

(*Григорий пробирается вперед.*)

— Эй, Гришка, ты куда? — С ума сошел.
— Воистину сбесился.

Царь

Как смеешь ты?

Григорий

Великий Государь,
Не надо лекаря. Я слово знаю.

(*Воздевает над Царицей руки.*)

Царица (*открывает глаза*)

Кто брал меня? Не сирин ли слетал
Ко мне с небес, не гамаюн ли вещий
Парил со мной?

П е т р

Царица, прикажи,
Мы отведем тебя в опочивальню.

Д и м и т р и й

Пошел, мужик.

Ц а р ь

Не трогайте его.

(*Ц а р и ц а, П е т р и Д и м и т р и й уходят.*)

Ц а р ь

Идите все.

(*Все, кроме М а р и и, расходятся.*)

М а р и я

Приляг, сынок, приляг. А я спою,
И у тебя на сердце полегчает.
Поди ко мне, мой мальчик ненаглядный,
Мой первенец.

Ц а р ь

Ты плачешь?

М а р и я

Я смеюсь,
От радости, что горе миновало.

Ц а р ь

Как скучно мне.

М а р и я

Кому теперь не скучно?

В истоме тяжкой небо и земля.
Баю, сыночек, спи, покуда спится.

(*Царь склоняется на ее колени. Темнеет.*)

Ты усни, засни Православный Царь,
Государь Николай Александрович.
Над тобой христианский Бог,
Под тобой крестьянский мир,
Небо чистое, море синее,
Земля черная, крещеная.

(*Раскаты грома.*)

То не пыль пылит, не огонь палит,
Надвигается горе горькое,
Беда лютая, неминучая,
Небывалая, неизбывная.
Уж ты стой, терпи, Православный Царь,
Государь Николай Александрович,
Отстрадай один за святую Русь.
Над тобой христианский Бог,
Под тобой крестьянский мир,
Небо чистое, море синее,
Земля черная, крещеная.

(*Гроза продолжается.*)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Приемная палата. Григорий заправляет лампаду.

Григорий

Спервоначалу — Господи, помилуй,
Благослови, Господь. Небесных ратей

Архангельских и Ангельских чинов
Да снизойдут невидимые силы
В сей честный дом. Аминь, аминь, аминь.

Ц а р и ц а (*входит*)

Что, лучше ли Царевичу?

Г р и г о р и й :

Бог даст,
Поборем хворь.

Ц а р и ц а

От вечери
До утрени всю ночь Царевич бредил
И лишь на самой зорьке задремал.
Аминь, аминь, аминь. Ступай, спасибо.

(*Г р и г о р и й уходит.*)

Ц а р ь (*входит*)

Алеше полегчало, говорят?

Ц а р и ц а

Да, отмолил Григорий.

Ц а р ь

Слава Богу!

(*Ц а р и ц а уходит, Ц а р ь садится на трон; его окружают рынды.*
Входят Н и к и ф о р, П е т р, Д и м и т р и й, Б о р и с с д в о р я н а м и, к р е с т ь я н е.
Все кланяются в землю.)

Голоса

— Царь-батюшка. — Желанный. —
Ангел наш. Родимый, солнышко.

Царь

Я рад вас видеть.

Никифор (*крестьянам*)

А вы что, братцы, топчетесь в углу?
Вперед идите. Меж Царем и вами
Преграды нет. Держать дозволишь речь?

Царь

Я слушаю.

Борис

Самодержавный Царь,
Перед тобой в тяжелую годину
Предстали мы. Под бурей лихолетья
Изнемогает Русская земля.
Десница Божия ее карает.
Война побед нам не дала, нас мир
Не успокоил. Заговор вселенский
Безбожников стремится сокрушить
Святую церковь. Крадется измена
В ряды твоих христолюбивых ратей.
Восстань судьею, грозный Государь,
Спаси сирот твоих.

Царь

Об этом я
Подумаю.

Голоса

— Спаси, родимый, нас. — Помилуй,
Батюшка, не дай погибнуть! —
Надежа-Царь! Кормилец, заступись.

Царь

Идите, люди, Бог вам да поможет.

(*Все расходятся.*)

Князь Сергий

(*входит*)

Великий Царь, меня избрали...

Царь

Князь,
Мне наперед твои известны речи,
Так лучше выслушай меня.

Сергий

О, Царь...

Царь

Не думаешь ли ты, что я не вижу
Что видят все? Что доверяю я
Кому-нибудь? С тех пор, как на себя
Я возложил оплечье Мономаха,
Моя душа скорбит. Прошли те дни,
Когда стояла Русь, как дуб столетний,
К земле корнями, в небесах вершиной,
Покорна богоданному Царю,
Единодушна в разности сословной
Как божество. Но и теперь, в чаду
Измен и смут, я власти не оставлю
И сотрясать основы государства

Не попущу ни земцам, ни боярам,
Ни самому себе.

Сергий

Но, Государь,
Не много просим мы: твоя Держава
Не расточится, ежели ты будешь
Царить в союзе с земскими людьми.

Царь

Не знаешь ты, чего, безумец, просишь.
Ответ даю я Богу одному.
На мне почиет дар Святого Духа.
Предав его, Царем не буду я.
И благодать самодержавной власти
Престол покинет мой. Довольно, князь.
Ни у меня, ни у тебя нет силы
Рок одолеть. Пусть будет все, как было,
Пусть всё идет, как шло. Перед концом
Останется монарх самодержавный
Защитником для Церкви Православной,
А для народа любящим отцом.

(*Уходит.*)

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Столовая палата. На кресле Царь, перед ним Никифор.

Царь

Какие вести?

Никифор

Прискакал гонец

Из Киева. Доносит воевода,
Что там мятеж.

Ц а р ь

Пошлем кого-нибудь.

Н и к и ф о р

Да некого.

Ц а р ь

А Дмитрий?

Н и к и ф о р

Он отравлен.
Все перебиты, все, до одного,
Телохранители твои и слуги.

С т о л ь н и к

(входит)

Великий Царь, боярина Петра
Аркадьича со всей его семьею
Бог посетил. Неведомые люди
Взорвали терем.

Н и к и ф о р

Господи, помилуй!

Ц а р ь

Боярин жив?

С т о л ь н и к

Сейчас к тебе он будет.

(*Уходит.*)

Н и к и ф о р

Царь, выслушай предсмертный мой завет:

Коль хочешь ты спасти свою державу,
Вели хватать изменников, казни
Злодеев.

Царь

Поздно. Казни не помогут
И не спасут. Не в нашей царской власти
Заставить солнце с запада подняться
И повелеть, чтоб реки вспять текли.

Никифор

Не поздно, нет. Пока еще народ
Священный сан твой чтит, покуда войско
Еще хранит тебя, ты время мог бы
Остановить.

Царь

Не чудотворец я.

Никифор

Последнюю теперь приемли просьбу:
Уволь меня от государских дел.
Хочу уйти в обитель.

Царь

С Богом.

(*Никифор уходит.*)

Григорий
(*входит*)

Что ж
Ты, батюшка, кручинишься? Не бойся,
Со мной не пропадешь. На мужике
Земля стоит. Бояре Русь губили,
А выручил мужик. Кузема Минин

С Ивашкою Сусаниным. На царство
Не тушинского вора, а Михайлу
Романова поставили, слыхал?

С т о л ь н и к (*в дверях*)

Боярин Петр.

Г р и г о р и й

Пошли его под Киев.

(*Входит П е т р.*)

Ц а р ь

Я радуюсь спасенью твоему,
Боярин Петр Аркадьич.

П е т р

За монарха
И родину я счастлив умереть.

Ц а р ь

Слыхал ли ты, что в Киеве творится?

П е т р

Я знаю всё.

Ц а р ь

Так поезжай туда
С дружиною моей.

П е т р

Дозволишь мне
Наедине сказать тебе два слова?

Ц а р ь (*знаком удаляя Г р и г о р и я*)

Я слушаю.

П е т р

Надежа-Государь,
Из Киева живым мне не вернуться.
Прими же завещание мое:
Когда теперь ты земского собора
Не соберешь, погубишь и себя,
И родину.

Ц а р ь

Вы словно сговорились
С Петровичем. Послушать вас обоих —
С ума сойдешь.

П е т р

А я свой долг исполню.

Ц а р и ц а
(входит)

Письмо тебе с границы.

Ц а р ь (*читает*)

Мы погибли.
Конец всему. Объявлена война.

Ц а р и ц а

Мы победим.

Ц а р ь

Тебе не говорить бы,
Не мне бы слушать. Разве могут люди
Бездомные, забывшие давно
И честь, и веру, встать за Государство?
Они сегодня мне «ура» кричали,
А завтра закричат «долой» и будут
В крови моей мочить свои платки.

Царица

Хотя бы так. Зато благой исход
Таит в себе зловещий этот жребий.
Я верую: войной спасется Русь
От козней многоглавого дракона,
Что движется на христианский мир,
Грозя низвергнуть алтари и троны,
Обычаи священной старины,
Брак и семью.

Григорий (*в дверях*)

Аминь, аминь, аминь.

Царица

Стыдись; о Царь, воспрять веди на битву
Свои полки!

(*Уходит.*)

Царь

О, горе всей земле!

Григорий
(*входит*)

Коли завидишь молонью во мгле,
Перекрестись и сотвори молитву.
Не выдаст нас антихристу Христос.

Царь

Прав Божий суд. Прости меня, отчизна.

(*Входят бояре, воеводы, царедворцы. Слуги разносят кушанья и вина. Песенники играют и поют. Григорий пляшет.*)

1918

239. КРАВЧИЙ

Сцена

Л и ц а:

Ц а р ь Лжедмитрий I.
Ц а р и ц а Марина.
К а ш и н, оружничий.
Л и х у т и н, вотчинник.
С а д о в с к и й, паж.
В р а ч.

Кремлевский дворец в Москве. Май 1606.

Ц а р ь

(*входит, сопровождаемый В р а ч о м*).
Я слушаю тебя.

В р а ч

Пресветлый Кесарь,
По твоему державному указу
Царицыну болезнь я распознал:
Она зовется tebris intermittens,
По-русски трясовица.

Ц а р ь

Смертельно?

В р а ч

Nein.

Имеется remedium supremum:
В горячее венгерское вино
Я подмешал семь капель рыбьей желчи,
Толченые драконовы глаза
И сонных трав целебные коренья.
Состав, налитый в золотую чару,
Вот здесь, в ларце. Тебе вручаю ключ.

Ц а р ь

Благодарю.

В р а ч

Не всё ты слышал, Кесарь.
Исчислил я вчера со Спасской башни
По ходу звезд Царицын гороскоп.
Венера борет в нем Минерву, ja:
Minervam in regina Venus vincit.
Всех три звезды: из них одна Saturnus,
Другая Eques, третья Sanctus amor.
Под знаком их нам должно поступать.
Я ухожу и первых трех мужей,
Кого в стенах кремлевских повстречаю,
Пошлю сюда. Ты выберешь из них
Царице кравчего, чтобы поднес
Лекарство ей и возвратил здоровье.
Но помни, Кесарь, выбрать должен ты
Того, кто молод и пригож лицом
И любит то, чего никто не любит.
Согласен?

Царь

Добже.

Врач

Salve, Maestat!

(*Уходит.*)

Царь

Ревнивый мой соперник, змей костлявый,
Коварный и безжалостный недуг
Дерзает подступать к моей Марине
И жесткими устами целовать
Те алые уста, которых я,
Московский царь, российский самодержец,
Один могу касаться.

Кашин

(*входит*)

Государь,
Меня послал к тебе твой немчин-лекарь.
Аз есмь оружничий Михайло Кашин.

Царь

Который год тебе?

Кашин

Шестой десяток
Дошел вчера.

Царь

Давно ты при дворе?

Кашин

При батюшке твоем, царе Иване,
На службу взят и жалован зело

Твоим покойным братцем, государем
Феодором Иванычем. Когда
Тебя сослали в оный город Углич,
Я до заставы поезд провожал,
И ты меня...

Царь

Так. Помню. Указую
Тебе дать зараз сорок соболей
За те года.

Кашин

Воздай тебе Создатель.

Царь

Теперь ответствуй, что ты любишь.

Кашин

Как?

Царь

Что для тебя милей всего на свете?

Кашин

Стар, государь, я стал, чтобы любить.
Всё отлюбил давно опричь святой
Христовой церкви. Утреню люблю я
С канонами по греческому чину
И псалмопение, как в Цареграде
Протяжное. Люблю кадильный ладан,
Сиянье свеч, трезвон колоколов
И весь устав отеческий, церковный.

Царь

То хорошо. Но обожди приказу.
Стань к стороне. Ты кто?

Лихутин

(*входит*)

Лука Лихутин, боярский сын.

Царь

Откуда?

Лихутин

С-под Симбирска,
Села Медяны. Пчельник у меня:
Мед белый липовый и мед гречушный.
За пасекой широкие луга,
В лугах цветы, а над цветами пчелы
Так и звенят.

Царь

Тебе который год?

Лихутин

На зорьке нонче сорок лет минуло.

Царь

Зачем ты здесь?

Лихутин

Приехал на Москву
Продать коня, да выдать дочку замуж.

Царь

Что любишь ты?

Лихутин

Сызмальства, Государь,
Люблю вскочить в седло и мчаться степью
За легким зайцем с ветром вперегонку,
Люблю проворным ястребом травить
По осени тяжелых перепелок
И бить стрелою утиц да гусей.

Царь

То хорошо. Я сам заядлый ловчий.
Но погоди. Стань тут. Скажу я после.

Садовский

(*входит*)

Что, Государь, изволишь приказать?

Царь

А, это ты! Так вот кто Sanctus amor!
Скажи скорее, сколько лет тебе?

Садовский

Исполнится мне завтра ровно двадцать.

Царь

Так. А скажи: ты любишь ли охоту?

Садовский

Нет, Государь.

Царь

Быть может, ты любитель
Старинных книг?

Садовский

О нет.

Царь

Червонцы любишь?

Садовский

Нет, не люблю.

Царь

А почести?

Садовский

Я их
И не ищу.

Царь

Вино?

Садовский

Вина не пью.

Царь

Так молви ж, лайдак, что ты любишь.

Садовский

Розы.

Царь

Что, повтори?

Садовский

Мне розы, Государь,
Всего милей.

Царь

Цветы? Дороже денег,
Вина и почестей?

Садовский

Так, Государь.

Царь

Старик, скажи, ты слышал ли когда,
Чтоб кто-нибудь любил (смешно мне) розы?

Кашин

Живу на свете шестьдесят годов:
Ни видом я не видывал, ни слыхом
Не слыхивал и вздумать не могу
Таких людей.

Царь

Что скажет пан пчеляк?

Лихутин

Великий царь! Отдай парнишку мне:
Я дурь с него собью. Коли разок
Отведает моих соленых розог,
Об розах позабудет.

Царь

Ха-ха-ха!
Так слушай нашу волю, пан Садовский.
Ты знаешь, что Царица нездорова?

Садовский

Да, Государь.

Царь

Задумал врач поить
Ее лекарством. Здесь оно, в ларце.
Ты паж царицы, рос у пана Мнишка.

Тебе я доверяю. Ключ прими
И будь царицын кравчий. Что, доволен?

С а д о в с к и й

О, Государь!

Ц а р ь

Иди теперь к царице,
Проси ее сюда. Ларец откроешь
И поднесешь питье. Ты понял?

С а д о в с к и й

Понял.

(*Уходит.*)

Ц а р ь

Ступай. А вы, когда вернется паж,
Посулами его уговорите,
Чтоб отдал ключ. Сулите, что придется:
Его мне верность должно испытать.

(*Уходит.*)

С а д о в с к и й

(*входит*)

Царица одевается и будет...
Где ж Государь?

К а ш и н

Пошел к себе наверх.

Л и х у т и н

А мы с тобою малость погуторим.

С а д о в с к и й

Мне некогда.

К а ш и н

Успеешь.

Л и х у т и н

Время терпит.

К а ш и н

Есть в царской оружейной у меня
Кафтан атласный, дымчатый, китайский,
На горностаях, соболем обшитый,
Подбитый аксамитом голубым.
На нем узоры вытканы седые:
Павлины, барсы, лоси, журавли,
Репьи, орлы, карасики и травы.
Есть маковая шапка-столбунец
Заморская; есть шитые перчатки
Зеленый цвет, из лундыша-сукна,
Есть пояс васильковый, весь в каменьях.
Хорош кафтан?

С а д о в с к и й

Хорош.

К а ш и н

Кто по Москве
Пройдется в нем, всех девок перессорит.
Скажи лишь слово, и в кафтане царском
Сейчас сойдешь боярином с крыльца:
Отдай мне ключ от винного ларца.

С а д о в с к и й

Не только за кафтан, а за порфиру,
За скипетр и державу не отдам
Тебе ключа.

Лихутин

Гляди сюда, молодчик:
Вон у столба горячий аргамак
Подковой землю бьет. Как сахар белый
Арабский конь. Вишь, грива по колено,
Хвост до копыт. Русалочья коса
Пышней не будет, нет. А что, парнище,
Видал ты кизилбашское седло?
Так полюбуйся: по камке индейской
Насажены где лал, где сердолик,
Где бирюза, где яхонт. Эх, седельце!
Из алтабаса жаркого чепрак
Узорчатый, резные стремена
Серебряные, греческого дела.
Хорош конек?

Садовский

Хорош.

Лихутин

Под Светлый Праздник
В собор на нем проехаться не худо.
Дарю тебе я, парень, иноходца
Со всем добром. А ты меня не мучь:
От винного ларца отдай мне ключ.

Садовский

Сули мне не коня: единорога
Крылатого, и скатерть-самобранку,
И шапку-невидимку, всё ж ключа
Я не отдам.

Кашин

Царицын кравчий, слушай.

Есть у меня бухарский саадак,
В нем черный лук из буйволового рога
И двадцать крымских с рыбьим зубом стрел
В серебряном колчане. Есть чеканный
Аварский шлем с насечкой золотой,
Персидский круглый щит, кривая сабля
Турецкая: по синему булату
Наведены слова багровой вязью,
Из волчьей белой кости рукоять.
В уборе том Иван Васильич Грозный
Ходил во время оно под Казань.

Садовский

Ключа не дам.

Лихутин

Я вижу, ты охальник.
Да ты крещен аль нет?

Садовский

Я православный.

Лихутин

Так дочь мою посватай, паренек:
Пущай она тебе невестой будет.
Таких красавиц мало на Москве.
Румяней яблока, белей сметаны,
Как трубы косы, брови две дуги,
Уста малина, сладкие, как пряник.
Горят ее глазищи под фатой.
На пальцах перстни с яркими камнями,
В ушах двойчатки из кафимских зерен,
На шее скатный жемчуг в три ряда.
Не девка, а жар-птица! Слухай дальше:

За ней приданого две сотни ульев,
Хоромы брусяные со светелкой,
С лежанками; на печках изразцы,
На изразцах зеленые цветочки,
С одёжею двенадцать коробов,
Серебряные блюда, солоницы,
Сулейки веницейского стекла
Да кованые дедовские чарки.

Садовский

Не дам ключа.

Лихутин

Тьфу, прах тебя возьми!

Садовский

Мне некогда. Сейчас придет Царица.
Прощайте.

Лихутин

Ин прощай же.

Кашин

Буди здрав.

(*Оба уходят.*)

Садовский

Безумные! За все богатства мира,
За всё величье королевской власти
Я радостного счастья не отдам
Служить Марине. Вот передо мною
Ее лицо. К смеющимся устам
Из рук моих она подносит чару,
Рокочет соловьиным смехом. Снова

В уме Самборский замок. На закате
Марина в цветнике срывает розы
То алые, как пламенная кровь,
То белые, как снег, то огневые,
Как золото. А я, дышать не смея,
Слежу за ней украдкой из бойницы
У мшистого зубца, где надо мною
Стрижей хлопочет резвая семья,
И тает сердце сладкими слезами.
О, счастие!

Ц а р и ц а
(*входит*)
Где кравчий мой?

С а д о в с к и й

Царица!

Ц а р и ц а
Пан Александр. Скучаешь по Литве?

С а д о в с к и й

О нет, царица.

Ц а р и ц а
Нет?

С а д о в с к и й
Где ты, там скуке
Невместно быть.

Ц а р и ц а
Однако при дворе
Ты научился льстить не хуже ляха.
Нехорошо.

Садовский

Отсохни мой язык,
Когда солгать тебе хоть раз посмею.

Царица

Но должности своей не забывай:
Неси питье.

Садовский

Сейчас.

Царица

Ты добрый мальчик.
Так ты мне лгать не станешь?

Садовский

Никогда.

Царица

Тогда скажи по совести: красива
Я или нет?

Садовский

Прекраснее тебя
И не было на свете, и не будет.

Царица

Тебе я нравлюсь?

Садовский

Выслушай меня.
Был Духов день пять лет тому, в Самборе
Ты вечером гуляла в цветнике,
Потом у крепостной стены стояла,

И вдруг к твоим ногам скатилась роза
С угольной башни.

Царица

Это ты был?

Садовский

Я.
Благоволи теперь принять лекарство.

Царица

Как хорошо. Ты исцелил меня,
Мой верный кравчий. Я совсем здорова
И наградить тебя хочу. Проси
Чего желаешь.

Садовский

Подари мне розу
С твоей груди.

Царица

И больше ничего?

Садовский

Да разве может выше быть награда?
Она со мною вместе ляжет в гроб,
На Божий суд я с ней предстану.

Царица

На.
Теперь прощай. Нет, лучше до свиданья.
(*Уходит.*)

С а д о в с к и й

Сбылось мое заветное желанье,
Моя мечта.

(*Входят* *Ц а р ь*, *К а ш и н*, *Л и х у т и н* *и с в и т а.*)

Ц а р ь

Пан Александр Садовский!
Ты угодил царице и достоин
Беневоленции моей. Боярин,
Читай указ и грамоту вручи.

К а ш и н

Мы, Божьей милостью великий Царь
Димитрий Иоанныч всей Руси,
Пожаловали пана Александра
Садовского, велели поверстать
Его поместьем на реке Оке,
Под самым Новым городом Низовским.
От перелога вдоль реки к оврагу
Щербинскому, оттоль к сухому дубу
Через межу тропой до лысых сосен
К деревне Ройке. А всего поместья
Дано ему пять тысяч десятин.

С а д о в с к и й

Благодарю Царя и Государя.

Ц а р ь

Еще тебе прибавлю те дары,
Что ты принять сегодня отказался:
Жупан, доспех походный и коня,

Когда ты мне отдашь вот эту розу,
Что у тебя в руке.

Садовский

Великий Царь!
Возьми обратно всё мое богатство
И голову в придачу, только розу
Оставь со мною.

Царь

Добже. Но рубить
Я головы твоей не стану. Слово
Мое закон. Бери себе маетность
И все дары. Но с розой одному
В усадьбе скучно будет. Я невесту
Тебе нашел. Лихутин, дочь свою
Отдашь ли ты за пана Александра?

Лихутин

Как не отдать такому жениху?

Царь

Так будьте счастливы. Сегодня в ночь
Вы от Москвы поедете на Нижний
И свадьбу там сыграете. Смотри же,
Пан Александр, чтоб ровно через год
Царица у тебя крестила сына.

Все

Да здравствуют Димитрий и Марина!

1921



ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Садовского выходили следующие его стихотворные сборники: «Позднее утро» (М., 1909); «Пятьдесят лебедей» (СПб., 1913); «Самовар» (М., 1914); «Косые лучи. Поэмы» (М., 1914); «Полдень. Собрание стихов. 1905—1914» (Пг., 1914); «Обитель смерти» (М. [на титуле — Н. Новгород], 1917); «Морозные узоры. Рассказы в стихах и прозе» (Пб., 1922). После 1922 г. отдельными книгами стихи Садовского не издавались; изредка ему удавалось напечатать одно-два стихотворения в каком-либо сборнике.

Списки и автографы стихотворений Садовского хранятся в его архивном фонде в РГАЛИ (ф. 464). Несмотря на сравнительно неплохую сохранность архива Садовского, творческое наследие писателя представлено с большими лакунами. Так, стихотворения сосредоточены в двух единицах хранения: стихи 1909—1917 гг. (оп. 2, ед. хр. 35) и стихи 1929—1942 гг. (там же, ед. хр. 39); еще часть стихотворений оказалась в других единицах хранения («Аврелия», переложение псалмов царя Давида и др.). Разрозненными и размещенными по разным единицам хранения оказались рассказы в стихах и стихотворные пьесы. Каждое стихотворение переписано чернилами на отдельном листке бумаги, возможно женой Садовского, и список потом правился Садовским карандашом, а на обороте он ставил порядковый номер. Кроме того, в архиве хранятся сборники «Позднее утро», «Пятьдесят лебедей» и «Обитель смерти» с карандашной правкой печатных текстов, сделанной, судя по почер-

ку, не ранее конца 1920-х гг., и также с проставленными (но не во всех случаях) порядковыми номерами. При формировании единиц хранения авторская нумерация, устанавливающая порядок стихотворений, игнорировалась (мы, насколько возможно, вернулись к разметке автора). Здесь и обнаружились пробелы: отсутствуют или представлены единичными стихотворениями периоды между 1919—1929, 1930—1935, 1935—1941 гг., — т. е., в совокупности, почти за двадцать лет. Нельзя, впрочем, исключить, что в эти годы Садовской стихов не писал. Его так и не исполненное решение покончить с литературным творчеством отразилось в некоторых дневниковых записях.

Настоящее издание малой серии «Библиотеки поэта» ни в коем случае не претендует на полноту. При отборе стихотворений предпочтение отдавалось неизданным или пересмотренным и исправленным автором; в таких случаях публикуются последние редакции. Исключение сделано для сборника «Самовар», поскольку этот сборник явился для Садовского во многом программным. Позднее Садовской «рассыпал» книгу, исключил некоторые стихотворения, некоторые исправил, снял заголовки и разместил стихи в разных местах своего гипотетического собрания сочинений. Позднейшие варианты отдельных стихов «Самовара» даны в примечаниях. К стихотворениям, публикующимся по спискам из фонда Садовского в РГАЛИ, повторяющиеся примечания с указанием на названные выше архивные шифры не даются.

Поэты, как известно, делятся на тех, кто стремится постоянно улучшать и переделывать свои стихи, и тех, кто от написанного, а тем более опубликованного стихотворения отходит, предоставив ему жить своей жизнью (примеры — Белый и Блок). Зачастую переделки, про-

диктованные сложными внутренними мотивами, с точки зрения читателей, привыкших к первому варианту, «портят» стихотворение или, во всяком случае, не отменяют для них первоначальную редакцию (это относится, например, к поздним Пастернаку и Заболоцкому, переписавшим свои ранние стихи). В этом случае обе редакции существуют равноправно, причем, по археографическим правилам, канонической (что не означает автоматически лучшей) считается последняя прижизненная редакция.

В процессе подготовки своего собрания сочинений Садовской также переделывал ранние стихи по меньшей мере дважды (вначале правился текст печатного сборника, потом переписанное на отдельном листке стихотворение с учетом первой правки исправлялось еще раз). Поправки вносились дрожащей рукой, пальцы поэта еле удерживали карандаш, но исправления были не случайны, а всегда точны и обдуманны. Иногда суховатый, нейтральный эпитет заменял словесную завитушку — и стихотворение много выигрывало: строгость превращалась в стройность. Порой замена всего одного прилагательного весьма многозначительна и понимающему исследователю многое говорит об авторе и его духовной эволюции. Так, в стихотворении «Самовар в Москве» в последней строке 3-й строфы вместо «о *дивном* Пушкине, о грозном Николае», как стоит в альционовской книге 1914 г., в редакции 1929 г. появляется «о *дерзком* Пушкине...» (курсив мой. — *С. Ш.*). При этом Садовской выставлял под стихотворением только одну, первоначальную, дату. Надо сказать, что такая практика входила в известное противоречие с его высказыванием в предисловии к сборнику «Позднее утро» в декабре 1908 г.: «Сборник стихов можно уподобить собранию изображений самого поэта. Каждое стихотворение, однажды возникая, является более или менее схожим

изображением породивших его переживаний. Но невозможно прошлое мешать с настоящим, — и стихи, как отдельные точки поэтического сознания, должны восприниматься в той самой последовательности, какую создало для них время. Оттого строго хронологический порядок всегда представлялся мне единственно удобным и нужным в деле собрания лирических произведений».

Все же авторская воля Садовского в данном издании нами поставлена выше публикаторского «узуса» серии, требующего давать авторские сборники по тексту прижизненных изданий, а позднейшие редакции — в разделе примечаний. В данном, конкретном, случае авторская правка представляется оправданной и действительно улучшает стихотворения. Впрочем, мнение пишущего эти строки в такой прихотливой области, как литературные вкусы, не может быть никому навязано. Доверимся же литературному вкусу Бориса Садовского.

Список сокращений:

Записки — *Садовской Б. А.* Записки. Российский архив. М., 1991. Т. 1.

Позднее утро — Позднее утро. М., 1909.

Пятьдесят лебедей — Пятьдесят лебедей. СПб., 1913.

Обитель смерти — Обитель смерти. М., [на титуле — Н. Новгород], 1917).

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Волгарь. 1901. 6 января. Подпись «Б. Сад-ской». Дебют Садовского в печати. До отъезда Садовского в Москву, где он поступил в университет, в «Волгаре» было опубликовано 25 стихотворений поэта-гимназиста. В своих воспоминаниях он писал: «Десяти лет я начал

писать стихи; в гимназии носил я прозвище "стихоплета". Когда я был в последних классах, нижегородская газета "Волгарь" напечатала мою балладу "Иоанн Грозный" и еще десятка два стихотворений» («Весы». (Воспоминания сотрудника) // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 13. М.; СПб., 1993. С. 16).

2. Печатается по автографу, приложенному к письму Садовского Розанову. Стихотворение датировано «1 сентября 1903 г. Н.-Новгород», а 10 января 1904 г. Садовской писал Розанову из Москвы: «Уж как мне приятно было узнать, что Вам понравилось мое стихотворение, посвященное Вам! <...> Вы спрашиваете: "кто я? Откуда? Зачем?" Многое на это можно бы сказать — только ничего определенного — я считаю себя пока лишь зародышем чего-то. Внешние факты моей жизни таковы: я коренной нижегородец, чисто русский по происхождению, из дворян, родился в Ардатовском уезде и прожил почти безвыездно в деревне до 11-ти лет. Затем учился в Нижнем, сперва в Дворянском институте, потом в гимназии. В 1902 г. кончил курс, получив в награду соч. Ал. Толстого "за стихотворные опыты". Писать начал с 9-ти лет. Писал довольно много, преимущественно стихи. Всегда был религиозен и консервативен в смысле государственных и патриотических взглядов. Благодаря этому терпел немало неприятностей, особенно в гимназии. Искренность в убеждениях мне, впрочем, и теперь немало вредит. До самого последнего времени я как-то болтался в пространстве и никак не мог найти почвы под ногами. Школа Горького, Андреева и т. п. мне противна, о направлении Михайловского нечего и говорить. Хотелось чего-то другого, особенного. И свое творчество перестало удовлетворять — все искал чего-то вне. Только и читал, что классиков, а остальное лишь

просматривал от скуки. О "новом" искусстве (о символизме и проч.) у нас в нижегородском обществе судили больше по пародиям В. П. Буренина, которого мой отец состоит ярым поклонником. Я тоже как-то полунасмешливо и поверхностно, со слов других, отзывался о новом направлении. О глашатаях его я слыхал смутно. Вас знал лишь по коротким статьям того же "Нового времени". Но вот как-то попалась мне Ваша книжка "Литерат<урные> очерки". Я был пленен ею, но сознавал еще смутно. Прочел в "Рус<ском> вестн<ике>" статью о "Лермонтове и демонизме". Еще более пленился. Дальше — больше — стал чувствовать что-то, какая-то завязь показалась, зацветает, что-то повеяло будто. Наконец, узнал о выходе "Нового пути". Взяв и прочитав первую же книжку, понял, что теперь главное найдено, что есть почва под ногами. Начал читать "Мир искусства" за прежние годы, альманахи "Скорпиона", перечел все сочинения Ваши, Мережковского. Все это произошло со мной в этом году. В какие-нибудь несколько месяцев я совершенно переродился. Надо мной смеялись, но я ходил, как блаженный. Я много еще расскажу Вам, дорогой Василий Васильевич, много — и расскажу без утайки. Многое меня мучит (особенно в сфере половой жизни) и о многом бы хотелось попросить Вашего совета. Вы — лично Вы — неизмеримо облагодетельствовали меня. Вы мне второй духовный отец. Каждое Ваше слово для меня в откровение» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 724. Л. 216–216 об.). Позднее, в Петербурге, Садовской познакомился с Розановым и вспоминал: «У В. В. Розанова бывал я по воскресеньям. <...> В кабинете иконы с лампадкой, большой бюст Пушкина; на подставке из черного бархата гипсовая посмертная маска Страхова. Несколько книжных шкапов и на отдельной полке все

сочинения хозяина в красном сафьяне. За чайным столом у В. В. дышало провинцией, уездным уютом; казалось, сидишь не в Петербурге, а в Ардатове, не у литератора, а у педагога или чиновника. Варенье, котлеты от обеда, початый домашний пирог. В. В. набивает папиросы, посмеивается, пьет чай под тиканье часов. <...> В. В. очень любил меня. Однажды обнял и с нежностью сказал: "Какой тоненький, настоящий поэт"» (*Записки*. С. 175).

3. Впервые: *Позднее утро*. Печатается с учетом позднейшей правки на авторском экземпляре сборника в РГАЛИ.

4. Впервые: *Позднее утро*, под заглавием «Агасфер».

6. Впервые: *Обитель смерти*. Печатается по тексту сборника.

7. Впервые: *Позднее утро*. Печатается с учетом позднейшей правки.

8. Впервые: *Позднее утро*. Печатается с измененным заглавием (в книге — «Полет сокола») и учетом правки.

9. Впервые: *Обитель смерти*. Печатается по тексту авторского экземпляра с учетом позднейшей правки.

10. Впервые: *Позднее утро*. Печатается с учетом позднейшей правки.

11—13. Впервые: *Позднее утро*, под общим заглавием «Ковер-самолет». Печатаются с учетом позднейшей правки (авторский экземпляр сборника в РГАЛИ).

14—15. Впервые: *Позднее утро*. Печатаются с учетом позднейшей правки (авторский экземпляр в РГАЛИ).

17. Впервые: *Позднее утро*, под заглавием «Посвяще-

ние», с двумя дополнительными строфами (в книге 4-я и 5-я), после исправлений снятых автором:

Люблю твое презренье к черни
И одиночества покой.
[И ты, как я, —] В обоих нас огонь вечерний,
Последний луч зари родной.

Во дни безвременья и скуки,
Путь уступая мертвецам,
Вернулись мы, простерши руки
К блеснувшим издали венцам.

Сидоров Юрий Ананьевич (1887—1909), поэт, один из ближайших друзей Садовского. По словам последнего, «постоянным предметом наших бесед, их, если можно так выразиться, стержнем, было взаимоотношение между поэтом и человеком, между искусством и жизнью. Я убеждал Юрия в бесполезности так называемых "исканий", подменяющих жизненную беспомощность подобием словесной силы» (*Садовской Б. А.* Ледоход. Статьи и заметки. Пг.: Изд. автора, 1916. С. 158—159). Дружба базировалась на фундаменте, сложенном не только из «вечных ценностей», но и крайне правых убеждений и неразрывно связанного с ними антисемитизма (всего один пример: на другой день после столыпинского третьеиюньского государственного переворота Садовской писал: «Поздравляю тебя, дорогой Юрий, с давно желанным разгоном крамольной жидовской думы! Слава Богу — услышал Он наши молитвы! Получив это радостное известие, я весь вечер опасался удара — так был взволнован» (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 40. Л. 6.) После безвременной смерти Ю. Сидорова от дифтерита, в московском издательстве «Альциона», которым владел земляк и однокашник Садовского А. М. Кожебаткин (см. о нем примеч. к № 74), вышел сборник его стихов.

Вступительную статью написали Андрей Белый, Борис Садовской и Сергей Соловьев. В своей книге Садовской поместил статью «Памяти Ю. А. Сидорова. (Из личных воспоминаний)», где привел отрывки из писем Ю. Сидорова, а также поместил три его неизданных стихотворения. Об альционовском издании Садовской писал: «Посмертное собрание сочинений Юрия Сидорова составлено было Московским издательством "Альциона" беспорядочно и небрежно, с произвольными пропусками иных мест» (*Ледоход*. С. 164).

18–21. Впервые: *Позднее утро*. Печатаются с учетом позднейшей правки на авторском экземпляре в РГАЛИ.

22. Впервые: *Обитель смерти*. Печатается по тексту сборника.

23. Впервые: *Позднее утро*. Печатается с учетом позднейшей правки на авторском экземпляре в РГАЛИ. Из Пятигорска Садовской писал Ю. А. Сидорову 10 июня 1908 г.: «Здесь дает концерты знаменитый гармонист Петр Невский, который доставил мне большое удовольствие артистическим исполнением глинкинской "Камаринской". <...> Вчера на музыке видел сутуловатую фигуру Достоевского с какой-то дамой, хотел было его поймать, но не удалось. Он ли это? Может быть, мне почудилось? Но нет, фигуру его я хорошо запомнил, а форма Лазаревского института не оставляет места сомнению. <...> Что здесь хорошо, так это черешни. Спелые, крупные, будто жирные губы какой-нибудь грузинки. "Жалею, что пистолет заряжен не черешневыми косточками: пуля тяжела". Откуда? Кстати: несмотря на то, что весь Пятигорск полон Лермонтовым (здесь его памятник, место первой могилы, галерея его имени и т. д.), мне ярче и сильней рисуется образ Пушкина и его стихи

звучат в ушах — особенно четверостишие, поразительно верно рисующее характер Пятигорска и его окрестностей:

Уже пустыни сторож вечный
Стесненный холмами вокруг
Стоит Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук (как точно!)

А расплывчатые лермонтовские описания ровно ничего не говорят мне» (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 40. Л. 25—27 об.).

Стихотворение, обращенное к памятнику Лермонтову, было приведено в письме к Юрию Сидорову от 9 августа 1908 г., с припиской: «Напиши откровенно, чем плохи эти стихи». Сидоров отвечал: «Извне твои стихи изысканны и прелестны, подернутые свойственным тебе ледком сдержанности; изнутри они полны легкой и мучительной, влюбленной тоской». (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 191. Л. 39).

26. В марте 1909 г. в ознаменование 100-летия со дня рождения Н. В. Гоголя в Москве в начале Гоголевского бульвара был открыт памятник писателю работы Н. А. Андреева. 2 марта 1952 г. в 100-летний юбилей, но уже со дня смерти Гоголя, андреевский «пессимистический» памятник был заменен другим, работы Н. В. Томского, где писатель изваян в образе бодрого и деятельного столоначальника. Андреевского же Гоголя задвинули во дворик дома, где он в 1852 г. умер, а сейчас его московский музей.

28. В сборнике «*Позднее утро*» стихотворение посвящено князю А. В. Звенигородскому (1878—1961), близкому другу и земляку Садовского, малоизвестному поэту и исследователю биографии П. Я. Чаадаева.

35—36. Оба стихотворения под общим заглавием «Мои предки» впервые: Русская мысль. 1911. № 10. В сборнике *Пятьдесят лебедей* под общим заглавием «Семейные портреты» с подзаголовком: «Священной для меня памяти А. Л. и А. Н. Лихутиных». Здесь печатаются по тексту сборника с учетом позднейшей правки. Критик А. А. Измайлов в свой литературный обзор включил следующую пародию на стихи Садовского:

Двоюродный мой дед Агафадор Свербеев,
Ты сам и жизнь твоя — сюжет для нежных лир.
В двенадцатом тебя заметил Аракчеев,
В тринадцатом ты был пехотный командир.
Четырнадцать рублей, четырнадцать копеек —
Таков был твой оклад, когда ты начинал,
Под старость ты на чай бросал уж канареек
И в банке семьдесят, в кубышке сто держал.

Секунд-майора дочь Снадулия Петровна
С собою принесла тысченок пятьдесят,
Мандрыковку и Плес. Вы, сидя в них, любовно
Пороли крепостных и холили щенят.
Бригадный казначей, гроза всех казначеев,
Ты к бухгалтерии до гроба знал любовь!
Двоюродный мой дед Агафадор Свербеев,
Я слышу, как во мне твоя клокочет кровь!

(Русское слово. 1911. 30 октября).

46. Публикуется по рукописному списку с карандашной правкой Садовского. Стихотворение, по всей видимости, посвящено П. А. Столыпину (1862—1911), в революцию 1905—1907 гг. министру внутренних дел и председателю Совета министров, чьи решительные и жестокие действия во многом способствовали подавлению революционного движения; организатору разгона Государственной думы (см. примеч. 17) в 1907 г., руководителю аграрной («столыпинской») реформы. Был смертельно ранен эсе-

ром-терористом. Стихотворение является переработкой более раннего, оставшегося неопубликованным, текст которого находим в письме Садовского Ю. А. Сидорову от 29 июня 1907 г. Оно обращено было к тени другого лица, также усмирителя революции, однако не павшему жертвой теракта, и называлось «Венок на гробницу Д. Ф. Т.» (т. е. Д. Ф. Трепова, петербургского ген.-губернатора с января 1905 г., товарища министра внутренних дел, командующего корпусом жандармов):

Орел слетает на гробницу:
В гробнице спит усталым сном
Тот вождь, что спас народ, столицу,
Престол Царя и Божий дом.

Когда, посеянный крамолой,
Всклубился бунт, как хвост змеи,
Ты мощно поднял крест тяжелый
На плечи гордые свои.

Когда на храм, грозя палатам,
Кровавый блеск пожара лег,
Ты на коне сверкнул булатом —
И уступил герою Рок.

Шипела злоба клеветою,
Грозил отравленный кинжал,
А ты железною рукою
Бразды затянутые сжал.

Но неустанные тревоги
Сразили дух могучий твой:
Ты лег, измученный и строгий,
Под этот камень гробовой.

Знай: пережив позор и смуту,
Отчизны славу возлюбя,
В иную, светлую минуту
Мы осеним венцом тебя.

(РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 40. Л. 21).

47. Впервые: *Обитель смерти*, под заголовком «Сказка», с посвящением «Леночке Юнгер». Печатается по позднейшему рукописному списку с карандашной правкой Садовского. О Е. В. Юнгер см. примеч. 99.

49. В сборнике «Пятьдесят лебедей» стихотворение имеет посвящение Н. Н. Черногубову.

51. В сборнике «Пятьдесят лебедей» стихотворение посвящено С. Раевскому.

53. Приведено в книге: Зайцев А. Д. П. И. Бартенев. М., 1989. С. 59. *Бартенев* Петр Иванович (1829—1912) — историк, археограф, основатель и редактор-издатель исторического журнала «Русский архив», где печатался Садовской. Ср. в «Записках» Садовского: «Мой рассказ в стиле XVIII века, напечатанный в "Весах", очень понравился П. И. Долго не хотел он верить, что это сочинено. "Какой подлог: в Англии вам бы за это руки не подали." Насилу я убедил его. Старик захромал к шифоньерке, достал автограф Пушкина (вариант к "Русалке"), отрезал огромными ножницами последние два с половиной стиха и подарил мне. "Вот вам за вашу прекрасную прозу." За статью о Тургеневе П. И. назначил мне сто рублей, но я предпочел получить половину этой суммы; в счет другой половины Бартенев уступил мне четыре письма Гоголя к цензору Сербиновичу» (*Записки*. С. 163)

54. Впервые: Новый Сатирикон. 1912. № 11.

55. Впервые: Новый Сатирикон. 1912. № 12.

58. Стихотворение посвящено жене поэта В. А. Юнгера З. В. Дроздовой-Юнгер. См. также примеч. 99.

61. Впервые: Нижегородский листок. 1913. 26 ноября. Ахматова откликнулась стихотворением «Ответ» («Я

получила письмо...»), написав его на титульном листе «Четок» (1913), подаренных Садовскому. Книга была продана последним в 1934 г. вместе с частью своего архива и библиотеки в Государственный литературный музей. «Ответ» впервые напечатан Р. Д. Тименчиком только в 1981 г. (см.: Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1981. № 4. С. 377—378) и с тех пор неоднократно перепечатывался (см., напр.: *Ахматова Анна.* Соч.: В 2 т. Изд. 2-е. Т. 1. М.: Художественная литература, 1990. С. 319).

62. Впервые: Русская мысль. 1913. № 10 (октябрь).

63. Ср., в «Записках» Садовского о гимназическом товарище, вместе с ним приехавшим из Нижнего учиться в Московском университете: «Виктор Мясников с отличием сдал государственные экзамены и жил в Москве на большую ногу. Он вел азартную игру по клубам; ему все время везло. Одевался Мясников превосходно, ездил на лихачах.<...> Глубокой осенью в слякоть и ненастье сидел я у себя в “Дону” за самоваром. В дверь постучали. — “Здравствуй, Борис”. Входит Мясников. Затрепанный, грязный пиджак на почернелой рубашке, рваные башмаки, резиновый летний плащ и жокейский картузик с пуговкой. Держался он независимо, с достоинством. Попросил четвертак взаймы и позволения выбриться моей бритвой. Я его повел в ресторан, но нас туда не пустили. В пивной Мясников рассказал свою историю. Три года он счастливо играл, жил весело и богато. В один вечер (он назвал число и год) ему не повезло.

Назавтра то же, и так изо дня в день. Долго боролся игрок с фортуной: спустил все деньги, продал, без ведома брата, дом, заложил вещи, платье, часы и превратился в нищего. “Что же ты не служишь?” — “Эх, Борис! Ну что мне, например, служба, более или менее?

Смешно! После такой жизни идти, например, в нижегородский суд. Смешно, более или менее. Ну, буду я членом суда, например, устроюсь, более или менее, для чего? Что за радость, например? Смешно!" Мясников приходил еще раза три, а потом пропал. Кто-то видел его на Хитровом рынке, играющим с босяками в карты» (*Записки*. С. 166–167).

В архивном фонде Садовского в единице хранения, озаглавленной «Письма родных и знакомых», находится карандашная записка Мясникова, датированная 3 декабря 1910 г.: «Боря — заходил <к> тебе сейчас, но не застал. Извини, что беспокою. Я повторяю свою просьбу — выручи, пожалуйста. Ссуди какой-нибудь, хоть незначительной, суммой. Я переживаю крайне тяжелое время. Дорогой Боря, ты понимаешь, что я не стал бы тебе надоедать, если бы мне не было очень трудно. Для меня хоть какая-нибудь, безразлично, сумма имеет значение. <...> Твой Виктор Мясников. P. S. Боря — очень и очень надеюсь. Тяжело, тягостно так, что едва ли и поверишь» (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 248. Л. 91 и об.).

64. Печатается по правленому авторскому экземпляру *Обители смерти*. Посвящение «Графине П. О. Берг» вычеркнуто Садовским. Стихотворение посвящено *Палладе* Олимповне Богдановой-Бельской (1885–1968), яркой личности полубогемного петербургского литературно-театрального мира, завсегдатайке «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов», поэтессе-любительнице. Из письма А. А. Кондратьева Садовскому от 24 марта 1915 г. (где упоминается единственный стихотворный сборник Паллады «Амулеты») следует, что Садовской непохо знал Палладу: «Видел недавно книгу стихов, выпущенную Палладою и посвященную графу Бергу (Бо-

рису Осиповичу (1884—1953), очередному из ее мужей — *С. Ш.*). Лучше бы она издала свой альбом. Голубчик, напишите мне, видели ли Вы и читали ли этот альбом? Писал ли в нем кто-нибудь дважды?» (De Visu. 1994. № 1/2. С. 23).

66—69. Авторская датировка цикла на вырезке из журнала «Новый сатирикон» (1916. № 21. С. 6—7), вклеенной Садовским в альбом (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 4. Ед. хр. 3. Л. 137).

3. Стихотворение вписано в альбом критика А. А. Измайлова, автора пародии на «Прадеда» и «Прабабку» (РГАЛИ. Ф. 227. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 82).

74—85. Издатель «Самовара» — Кожебаткин Александр Мелентьевич (Мелетьевич) (1884—1942), сверстник Садовского по нижегородскому Дворянскому институту. Сын богатых волжских пароходчиков, он, как писал Садовской в «Записках», «еще в школе мечтал издавать журнал». В 1910—1912 гг. Кожебаткин был секретарем издательства «Мусагет» и создал собственное издательство «Альциона», существовавшее в 1910—1923 гг. В послереволюционные годы был компаньоном С. А. Есенина, А. Б. Мариенгофа и Д. С. Айзенштата по Книжной лавке имажинистов (см. о нем: Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990; по указателю).

С. М. Городецкий откликнулся на присылку новой книги Садовского следующим экспромтом:

Благодарствую за дар:
Твой получен «Самовар»:
Он на полочке стоит,
Потихонечку кипит.
Жду, не вышлешь ли на май

Противень под каравай,
А на ягодный июль —
Что побольше из кастрюль.
Каковы ж они в печи
Извещу о том в «Речи».

(*РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 7*).

На долгое время все творчество Садовского стали связывать единственно с этой книгой, что, конечно неверно и слишком поверхностно. Среди собранных им отзывов о «Самоваре» одобрительные (например, А. Полянина (Софии Парнок) и Владимира Пяста) чередуются с отрицательными. Приведем некоторые: «Джеромовский герой собирался выпустить в свет сборник рассказов "Нога моей тети". Довольно недурной поэт, Борис Садовский, предвосхитил эту идею и выпустил сборник стихов "Самовар". Причину такой своеобразной поэзии поэт объясняет тем соображением, что "самовар в нашей жизни, бессознательно для нас самих, огромное занимает место". <...> Кухонный обиход может дать массу тем для отдельных сборников» (Солнце Росии. 1914. № 3, март); «Стихи Садовского имеют нечто общее со стихами Вл. Ходасевича: и тот, и другой не рвутся за модой, работают, так сказать, в старых тонах. Однако справедливость требует от нас признания, что творчество г. Ходасевича гораздо выше и интереснее. Б. Садовской бывает местами откровенно скучен, и на всем "Самоваре" чувствуется игра "под старичка". Встречаются отдельные отрывки, не лишенные четкости, но в большинстве случаев — тоскливо и нудно» (Руль. 1914. 26 марта); «Есть категории людей с так называемыми "легкими характерами", — эти люди всегда желанны в веселой компании, о них приятно вспоминается в минуты веселия и не думается в часы углубленной жизни. Подобные таким лю-

дям есть книги, одаренные "легкими характерами". Сборник "Самовар" — из их числа. Стихи Бориса Садовского известны интересующимся современной поэзией, и книги этого автора "Позднее утро" и "Пятьдесят лебедей" установили за ним репутацию стихотворца хорошей школы, хранителя классических традиций русской поэзии. Лик музы Бориса Садовского не ярок чертами личной индивидуальности, но отмечен, так сказать — р о д о в о ю индивидуальностью: печатью породистости. Ничего нового, в смысле материала для характеристики поэтических возможностей Бориса Садовского, сборник его "Самовар" не дает. В десяти стихотворениях, посвященных "самоварной мистике", и одиннадцатом — вступительном: "Издателю А. М. Кожебаткину", составляющих этот сборник, чувствуется та же приятно-умелая рука, слишком умелая для того, чтобы быть напряженной. Если возможна была бы превосходная музыка на струнах минимально натянутых, то с такою музыкой вполне сравнимы были бы стихи, заключенные в сборнике "Самовар". Разумеется, полушутливый тон авторского предисловия, а также тон некоторых стихотворений должен был бы оградить этот сборник от высших притязаний художественной критики; и точно, легкое очарование стиха — не достаточный ли это вес для такого типа сборника? Стихи "Студенческий самовар", "Страшно жить без самовара", "Самовар в Москве", "Умной женщине" — какой приятною были бы находкой для исследователя русской музы! Как приятно было бы биографу разыскать их в портфеле поэта! Но современный поэт небрежлив, и историку русской поэзии в портфеле современного поэта уготовано мало открытий. *Андрей Полянин*» (Северные записки. 1914. № 4 (апрель); «В десятке стихотворений Бориса Садовского, изданных in quarto, так, чтобы не вместиться на книжную полку, а лежать на столе,

напоминая своим видом этот самый воспетый в них с а м о в а р, много той ароматной, уютной, бытовой поэзии, которая так редка теперь и за которую всегда начинаешь любить автора. Большое достоинство “Самовара” в том, что книжка (положим, ой-ой какая тоненькая) прочитывается от доски до доски с неослабным вниманием и интересом, как будто она написана прозой. — Это ли похвала поэзии! — может укоризненно воскликнуть читатель. Если бы он был на месте рецензента “поэтических” книжек, да принужден был еженедельно глотать их по полдюжине, он бы понял эту тоску по прозе, то есть по с о д е р ж а т е л ь н о с т и, по питательной пище. “Фиалками”, хотя бы они вышли “из тигеля”, — питаться немного затруднительно. Хорошо написано предисловие к “Самовару”. Оно на той неуловимой грани, где ирония сливается с задушевной нежностью. Сколько истинных произведений искусства возникли на этой меже! <...> “Весы”! Московский орган буйных исканий и дерзаний! Гадал ли ты, что придет время, когда года твоего выхода оденутся тою “грустно-задумчивою” дымкою, которая в поэтическом восприятии — неизменный спутник далекого, далекого, невозвратимого прошлого? *В. Пяст*» (День. 1914. 11 апреля); «Раньше поэты, издавая свои стихи, старались озаглавить их как можно изящнее. Выходили в свет книжки под названием “Тени жизни”, “Розы любви”, “Первые песни” и т. д. Однако, все эти сентиментальные названия приелись и надоели. Нашлись “поэтических дел мастера”, которые решили соригинальничать. Взять пример с футуристов. Первый почин сделал Б. Садовский. Он написал “самоварные стихи” и посвятил их... русскому самовару. Стихи слабоватые. Поэт пытается прорекламировать самовар в рифмованных строках и, вероятно, думает, что из его попытки вышло нечто большое и, главное, оригинальное. Но увы. <...> Может быть,

вскоре Б. Садовский найдет, что такими же достоинствами обладает лампа или диван. <...> *Торе Гам*» (Русская Ривьера. 1914. 24 апреля); «Сборник стихов, посвященных русскому самовару. Над стихами вьется улыбка автора, но явно теплится и благодарное, искреннее чувство, которое нашло гибкую музыку и привлекательные образы, чтобы воспеть уютный, интимный "гул и шепот" самовара. На "Самоваре" г. Садовского явственны блики солнца русской поэзии — Пушкина» (Вестник Европы. 1914. № 5 (май); «Прошлогодняя книга Б. Садовского "Пятьдесят лебедей" (изд. "Огни") была много интереснее "Самовара". Местами в ней был подлинный лирический подъем. "Самовар" же надуман, но не продуман, и не может быть принят иначе, как неудачная по своей тяжеловесности шутка даровитого писателя, и притом шутка не без привкуса квасного патриотизма. "Как явление чисто русское, он (самовар) вне понимания иностранцев", — говорит в предисловии автор "Самовара". А знает ли он, что в Неаполе, в музее Помпей, стоит "сосуд для согревания воды" (как обозначено в каталоге), представляющий собою настоящий самовар, сделанный к тому же так художественно, как в Туле? <...> Издана книга (в ней всего десять стихотворений), как и все последние издания "Альционы", претенциозно» (Речь. 1914. 12 мая).

4. В позднейшей редакции заголовок был снят, последние строки шестой строфы выглядят так:

Но явственно сквозь временной туман
Вневременное слышится шипенье.

Во второй строке последней строфы «а вещий Достоевский».

5. В позднейшей редакции заголовок снят. Первая строфа:

Московский самовар! Ты закипал недолго,
Из бака налитый слугою номерным...

6. Приводим позднейшую редакцию стихотворения, получившего новое заглавие и, несмотря на то что было переработано около 1929 г., сохранившего дату своей первой редакции:

Н. Н. Черногубову

Любил я вечером, как смолкнет говор птичий,
Порою майскою под монастырь Девичий
Отправиться и там, вдоль смертного пути,
Жилища вечные неслышно обойти.

Вблизи монастыря есть домик трехоконный,
Где старый холостяк, в прошедшее влюбленный,
Портреты и гербы развесил по стенам.
Фарфор и серебро сверкают тут и там,
Среди гравюр и книг, разбросанных не втуне,
Чернеются холсты Егорова и Бруни.
Там столик мраморный, тут люстра, здесь комод.

Бывало, самовар с вечерен запоет
И начинаются за чашкой разговоры
Про годы прежние, про древние уборы,
О благолепии и редкости икон,
О славе родины, промчавшейся, как сон,
О дерзком Пушкине, о грозном Николае.

В курантах часовых, в трещотках, в дальнем лае
Мерещится тогда дыханье старины
И оживает всё, чем комнаты полны,
О чем душа мечтать с младенчества привыкла.
Вот маска Гоголя загадочно поникла,
Вот дрогнул на стене красавицы портрет,
Нахмурился Толстой и улыбнулся Фет.
И сладостно ловить над пылью кабинетной
Былого тайный вздох и отзвук незаметный.

1913 <1929?>

О Н. Н. Черногубове (1874—1942?) Садовской вспоминал в «Записках»: «Николай Николаевич Черногубов жил на Мало-Царицынской, близ Новодевичьего монастыря. Ему было под сорок. Сухощавый, темнорусый, в усах, он походил не то на переодевшегося черта, не то на хорошего английского пойнтера. Нечто чертовское и костлявое в нем действительно было, особенно когда надевал он котелок. <...> Квартира из трех комнат; в первой, приемной, с полу до потолка портреты Фета, всех возрастов и эпох; в углу его же гипсовый бюст, работы Ж. А. Полонской. Другой, поменьше, сделанный Досекиным, на старом бюро; тут же маски Пушкина, Гоголя (первый снимок от наследников скульптора Рамазанова, дивный по сходству) и Н. Ф. Федорова, с прилипшими кое-где волосками от бороды философа. В столах и шкапах рукописи Фета, портфели и судебные дела его в синих казенных обложках. Всюду старые картины, иконы, целый шкап с фарфором. В столовой красного дерева диван, бывший когда-то собственностью знаменитого доктора Ф. И. Иноземцева; люстра в зале, принадлежавшая профессору Д. Я. Самоквасову. Бритвы, которыми Черногубов брился, шли из дома князя В. А. Долгорукова, покойного генерал-губернатора Москвы. Тарелки и миски старинные, древнего фарфора, самовар ампирный, в виде вазы, на львиных лапках. Куранты времен Петра Великого играли шведский марш и еще три пьесы. При доме сад, представлявший остатки парка Алексея Орлова, со столетней липой; там, за столиком, весной мы пили чай. Хозяин иногда приходил в умиление и вслух восторгался: "Какие вещи имею! Чего у меня нет!"» (*Записки*. С. 168).

7. В позднейшей редакции незначительные изменения в третей строфе: «синемотеатра»; «Бреду по Невскому; в руках газеты».

8. В. А. Юнгер в письме к Садовскому от 9 апреля 1914 г. писал о «Самоваре»: «Безукоризненным нахожу "Самовар в Москве" и не забуду из стих<отворения> "В санатории" строк:

Сорочьих лап узоры
На голубом снегу.

Я любил этот образ и раньше и тоже записал его, только в условиях лета и песчаного берега. О Львовой не думал ли ты, когда писал все стихотворение?»

О поэтессе Надежде Львовой, застрелившейся любовнице В. Я. Брюсова, чья гибель усугубила разрыв между Садовским и Брюсовым, см. в примеч. 233 (рассказ в стихах «Наденька»).

12. В позднейшей редакции изменено начало четвертой строфы:

На книги ли взгляну: унылые пески,
Пыль придорожная, иссохшее болото.

86. Публикуется впервые, автограф в РГАЛИ. Писатель *Ю. И. Юркун* (1895–1938) в 1914 г. дебютировал романом «Шведские перчатки», что нашло отражение в экспромте, датированном 13 сентября 1914 г. и, вероятно, переданным Юркуну Михаилом Кузминым, который встречался в этот день с Садовским. В дневниковой записи от 13 сентября 1914 г., отмечая неблагоприятную обстановку, сложившуюся вокруг альманаха «Петроградские вечера», и удрученное настроение Юркуна, Кузмин записал: «Садовской его несколько утешил» (*Кузмин М.* Дневник 1908–1915 гг. В печати). Роман еще не вышел тогда в свет; 30 октября 1914 г. Юркун в письме к Садовскому спрашивал: «Не прочитали ли моей книги? Какое же, если да, она произвела впечатление?» (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 152. Л. 6 об.).

Садовской почувствовал в «Шведских перчатках» «дрожь таланта», собирался писать рецензию, но его опередил В. Ф. Ходасевич.

89. Листок с карандашным списком неизвестной руки, с карандашной же правкой Садовского, вклеен в авторский экземпляр «Обители смерти». Об августейшем поэте *К. Р.* (вел. кн. Константине Константиновиче), который посетил Нижний в конце октября 1900 г. и которому Садовской поднес свои стихи, он вспоминал: «Тогда я начинал уже понемногу влюбляться в Фета и знал, что К. Р. носит его благословение. Я передал директору тетрадь с четко переписанными стихотворениями. В заседании педагогического совета Е. И. Бережков прочитал мои стихи, и решено было допустить меня к представлению.<...> Великий князь стоял, окруженный свитой и местными начальниками отдельных ведомств. Он был в измайловском сюртуке с погонами и высоких ботфортах. Могучий рост и общий склад лица отдаленно напоминали Императора Николая I, но дедовские черты во внуке частью затушевались, частью перешли меру в развитии. Лоб умалился, нос вырос и занял треть лица, длинный подбородок заострился, уши увеличились, глаза впали. <...> Последним директор подвел меня. <...> Отныне педагоги явно стали щадить меня; поэту сходило с рук многое, чего не простили бы гимназисту. Я понял, что теперь уже кончу курс. В VIII класс меня перевели без экзамена, хотя перед представлением великому князю имел я в выводе за четверть четыре двойки и числился последним учеником» (*Записки*. С. 143).

92. Печатается по авторскому экземпляру «Обители смерти». Заглавие «Уланы» и посвящение А. А. Садовскому (брату Бориса Садовского) вычеркнуто.

95. В стихотворении имеется в виду Г. Е. Распутин (1869—1916), фаворит семейства последнего русского императора Николая II.

97. В сборнике *Обитель смерти*, по правленому тексту которого печатается стихотворение, оно посвящено артисту В. А. Подгорному, знакомому Садовского по театру Н. Ф. Балиева «Летучая мышь».

99. Впервые: *Обитель смерти*. В сборнике стихотворение имеет посвящение другу Садовского, поэту и художнику Владимиру Александровичу Юнгеру (1883—1918). Автор портрета Садовского (воспроизведен: С. А. Есенин. Материалы к биографии. М., 1992. С. 337). Садовской был знаком с семьей Юнгера, дочь Юнгера, впоследствии известная ленинградская актриса, жена режиссера Н. П. Акимова, Елена Юнгер, оставила в своих воспоминаниях описание визита к Садовскому в Новодевичий монастырь в Москве (*Юнгер Е.* Все это было... М., 1990. С. 64—65.)

103. Впервые, под названием «Н. Н. Пушкина», появилось в сб.: Всероссийский союз поэтов: Новые стихи. Сборник второй. М.: СОПО, 1927. Годом раньше, в 1926 г., В. В. Вересаев писал Садовскому: «Года полтора назад Гершензон покойный читал мне Ваше великолепное стихотворение о Нат. Ник. Пушкиной. Напечатано оно или нет? Если нет, альманах "Недра" с радостью бы напечатал его». Однако по получении стихотворения он смущенно оправдывался: «...насчет "Н. Н. Пушкиной" я очень сконфужен: когда слушал стихи в чтении, не заметил, что там все Бог и Господь. А этих слов нынешние редакции боятся больше, чем в прежние времена черт — ладана» (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 1—2).

105. Впервые: *Обитель смерти*. Название стихотворения восходит к строкам Афанасия Фета, процитированным в письме Садовского к А. И. Тинякову от 10 июля 1913 г.: «17-го Мая имел счастье представляться Государю Императору в Дворянском Собрании. Прилагаю портрет мой в летней дворянской форме. Государь имеет вид свежий и цветущий. И Он, и Августейшее семейство очаровали всех; многие не могли удержаться от слез. Государь наследник обаятельно прекрасен и вполне здоров. Его Величество изволил пить за здоровье нижегородских дворян; мы отвечали нескончаемым "ура" и многократным пением гимна. Знаю, что Вы понимаете меня и разделяете высокие чувства подлинного патриотизма. Ибо, как молвил Фет:

В Элизии цари, герои и поэты,
А темной черни нет».

(ГПБ. Ф. 774. № 36. Сообщено В. Варджапетяном).

Латинист, юрист и поэт Б. В. Никольский, расстрелянный в 1919 г. по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре, писал по поводу этих стихов Садовскому 10 декабря 1917 г.: «...не могу не упрекнуть Вас в нескольких несправедливостях. Прежде всего, Александра I "пел" гораздо характернее Карамзина Жуковский; Карамзин был в оппозиции. Но и Карамзин, и Жуковский бледнеют перед пушкинскими: "Вы помните ль, как наш Агамемнон..." и: "О други, с мест! Вторую наливайте!.." и пр. С другой стороны, разве не Пушкин характеризовал царствование Александра I тем, что лира наших поэтов о нем безмолствовала? Относительно Николая I и Пушкина ничего не возражаю, кроме разве слова "был": не только был, но и есть, и будет, и во веки веков; но "воспевание" Александра II Тютчевым — весьма ус-

ловный факт. Всего же более несправедливо упоминание по поводу Александра III одного Фета. А Майков? А Голенищев-Кутузов? Если Вы скажете, что стихи Фета лучше, то я скажу, что вообще стихов, достойных Александра III, я не знаю. Наконец, Фет воспевал в равной мере и Александра II, и Александра III, и даже не в равной мере: в Александре III он воспел только его коронацию, а в Александре II предложенное им Герцену помилование. Правда, Фет после вычеркнул окончание и дату стихотворения, но что написано пером, того не вырубишь и топором. Словом, факты слишком громко говорят не в тон Вашему стихотворению, чтобы не заглушить той доли поэтической истины, которой оно внушено» (Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 350).

Садовской вначале подверг стихотворение правке, а потом перечеркнул весь текст, что означало, по-видимому, решение исключить его из планируемого собрания сочинений. Мы все же сочли необходимым поместить это важное для поэта стихотворение в последней редакции.

В печатном тексте *Обители смерти* предпоследняя строка читается:

Царь-мученик с лицом вампира.

107. Раннюю редакцию этого стихотворения Садовской посылал Георгию Блоку, двоюродному брату Александра Блока и редактору петербургского кооперативного издательства «Время», где, его хлопотами, в 1922 г. вышла книжка Садовского «Морозные узоры». 22 октября 1921 г. Блок писал: «“Древний <так!> туман” было бы замечательнейшим стихотворением, если бы не последний стих, где два раза Игорь дает какую-то вялость и

замутняет все предыдущее. Если Вы найдете, что это верно, то второго Игоря убрать Вам будет нетрудно». Из публикуемого текста видно, что Садовской учел замечания Г. П. Блока: Игорь назван там один раз.

113. Впервые под заглавием «27 февраля 1917 г.»: *Обитель смерти.*

114. Впервые: *Обитель смерти*, под заглавием «Памятник». Здесь публикуется позднейшая редакция из авторского экземпляра с правкой Садовского и дополнительной строфой. М. О. Гершензон, получивший из Нижнего книгу Садовского (о том, как Садовского познакомил с Гершензоном В. Ф. Ходасевич, последний вспоминал в своей книге «Некрополь»), писал автору 11 декабря 1917 г.: «Милый Борис Александрович, сердечно благодарю Вас за книжку. Хочется сказать Вам: "О, милый брат, какие звуки! " Я твержу себе на память Ваши стихи к сыну и "Памятник", не могу насытиться ими. Не узнаю Вас в них, так удивительно выросла в Вас душевная сила и мощь дарования» (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 42).

121. Ср. с местом из письма Садовского к Андрею Белому от 15 декабря 1918 г.: «Очутившись глаз на глаз со своею внутреннюю пустотой и вырванный из условий прежней внешней жизни, я стал искать спасения у мудрецов. Кант помог мне мало, а Шопенгауэр сделал то, что меня дважды вынимали из петли» (цит. по: *Шумихин С.* Писатель из новодевичьего монастыря // *Садовской Б. А.* Лебединые клики. М., 1990. С. 456.).

128. Стихотворение обращено к исследователю творчества Ф. М. Достоевского Василию Леонидовичу Комаровичу (1894—1942), с которым Садовской познакомился в 1918 г., когда тот приехал читать лекции в Нижегородском университете.

130–142. Венок сонетов.

Последний, 14-й сонет венка «Николай Второй», как и заключительный магистрал, составленный из первых строк всех предыдущих сонетов, в рукописи отсутствуют. Возможно, они были изъяты самим автором, из опасения обыска.

3. *Озолотил дворцов кремлевских сени.* Сын царевича Алексея *Петр II* (1715–1730) пробыл на троне всего три года, и то лишь номинально, поскольку реально правил государством при нем А. Д. Меншиков, затем князья Долгоруковы. Однако юный царь успел объявить об отмене ряда преобразований своего деда; столица на этот короткий срок (1728–1732) вновь была перенесена из Санкт-Петербурга в Москву.

143–149. Название цикла принадлежит публикатору.

150. РГАЛИ. Ф. 2861. Оп. 1. Ед. хр. 413. Стихотворение посвящено Нине Леонтьевне *Манухиной* (1893–1980), жене поэта Г. А. Шенгели. Оно отвечает на стихи Манухиной о кукольном домике во 2-м сборнике Всероссийского Союза поэтов «Новые стихи» (М., 1927), где были также опубликованы три стихотворения Садовского. Невеста Садовского (см. примеч. 157) скончалась незадолго до свадьбы, в день падения самодержавия, 27 февраля 1921 г. Рафаил Карелин писал Садовскому на Пасху 1923 г: «Слухи, дошедшие до Вас о Владыке, совершенно справедливы. <...> Разве смерть Вашей невесты не является для Вас разительным доказательством правильности его совета?» (см.: *Проценко П. Г.* Биография епископа Варнавы (Беляева). Н. Новгород, 1999. С. 275). После этого Садовской делал несколько попыток жениться, в частности, в 1926 г. его предложение приняла Т. В. Звенигородская (сестра друга

детства кн. А. В. Звенигородского, о котором см. примеч. 28), но этот брак расстроился. В конечном итоге, Садовской женился в 1929 г. (см. след. примеч.).

151. Стихотворение посвящено жене Садовского Надежде Ивановне (1886—после 1941). К сожалению, мы не располагаем почти никакими сведениями о ней. Садовской писал Корнею Чуковскому в декабре 1940 г.: «Жена моя знала когда-то латынь и Канта, но теперь, слава Богу, все забыла. Зато и пельмени у нас, и вареники, и кулебяки! Пальчики оближете» (Знамя. 1992. № 7. С. 192).

156. Впервые: De Visu. 1993. № 4. *Н. П. Гиляров-Платонов* (1824—1887) — публицист, философ, издатель. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

157. Елизавета Павловна *Безобразова*, дочь М. С. Соловьевой и историка и писателя П. В. Безобразова, племянница В. С. Соловьева. В РГАЛИ находится свыше 60 ее писем Садовскому за 1910—1912 гг., содержание которых позволяет заключить, что между ними разыгралась любовная история с трагическим для Безобразовой исходом. Вероятно, Садовской заразил свою невесту, и она не перенесла этого. В дневниковой записи А. А. Блока от 22 октября 1912 г. говорится: «Лиза Безобразова "сошла с ума", ее отвезли к Бари (в психиатрическую лечебницу А. Э. Бари в Петербурге. — *С. Ш.*)» (*Блок А. А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. М.; Л., 1963. С. 168). Смерть Е. П. Безобразовой в день падения самодержавия, не могла не подействовать на Садовского определенным мистическим образом. См. также примеч. 150.

164. Публикуется впервые по машинописной копии с дарственной надписью Садовского Т. Г. Зенгер-Цяв-

ловской (РГАЛИ. Ф. 2558. Оп. 1. Ед. хр. 250). Была ли написана поэма «Лермонтов», нам неизвестно; скорее всего, замысел остался неосуществленным. Роман Садовского о Лермонтове «Пшеница и плевелы», законченный в 1940 г. (Новый мир. 1993. № 11), частично написан от имени Мартынова и с его точки зрения.

165. Публикуется впервые по автографу из альбома библиографа и поэта Е. Я. Архиппова (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 61–62). Двустишие является переложением стихотворных строк Платона из Палатинской антологии (VII. 669).

166. Стихотворение обращено к А. К. Толстому.

176. В «Записках» Садовского читаем о лете 1904 г.: «Летом я гостил опять на Серных водах, уже переименованных в Серноводск. Там сияла красотою и изяществом В. И. Савинова, самарская гимназистка» (*Записки*. С. 153).

193. По нашему предположению, написание этого стихотворения связано с вербовкой Садовского в псевдомонархическую организацию «Престол» (подробнее см. во вступит. ст.).

200–212. Цикл стихотворений посвященный учителям Садовского по нижегородскому Дворянскому институту Александра II. Заголовок дан публикатором.

1 — относится к директору Института Г. Г. Шапошникову; 2 — инспектору А. А. Аллендеру; 3 — Н. М. Архангельскому; 4 — Н. Н. Костырко-Стоцкому; 5 — А. П. Никольскому; 6 — А. В. Захарову; 7 — И. М. Голану; 8 — М. Н. Чоху; 9 — В. Л. Парше; 10 — И. С. Просвирнину; 11 — И. И. Жихареву; 12 — М. М. Никольскому.

218–219. Садовской не знал языков и переводил очень немного, по подстрочникам, которые доставляли ему имеющие связи в литературном мире друзья. Публикуемые стихотворения взяты из кн.: *Исаакян А.* Избранные стихи. М.: Художественная литература, 1945, где помещено несколько переводов Садовского. Составитель сборника переводной поэзии «Строфы века-2» Е. В. Витковский уверен, что живший по соседству с Новодевичьим монастырем С. В. Шервинский, в чьей жизни Армения была одной из важнейших тем, давал Садовскому возможность переводческого заработка. Можно указать и на неопубликованные поздние переводы Садовского, например, на сказку в стихах казахского писателя А. Тажибаева «Возведенный купол» (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 9. Ед. хр. 2497).

220–224. Хранятся в семейном архиве внучатой племянницы Садовского Е. А. Новиковой, жительницы Нижнего Новгорода.

220. Имеется в виду Нижегородская губернская архивная комиссия.

221. Стихотворение посвящено Марии Александровне Садовской, младшей сестре поэта, которую в семье звали Мушкой или Мухой.

222. Стихотворение посвящено жене Садовского.

223. В 1931 г. Б. Шоу приезжал в СССР.

224. В отличие от предыдущего, это послание возможно не носит сатирического характера. В. И. Лебедев-Кумач был депутатом Верховного совета РСФСР («Вы мой избранник»), и Садовской мог обратиться к нему с таким письмом, рассчитывая, что необычность формы запроса заинтересует песенника. Публикации Садовского в

«Товарище» не выявлены, а говоря об И. Н. Ульянове, он повторяет былую мистификацию, которой в середине 1920-х гг. сумел одурачить издателя «Былого» П. Е. Щеголева.

РАССКАЗЫ В СТИХАХ

225. Ранняя редакция под заглавием «Федя Косопуз» — в сборнике «Морозные узоры» (Пб., 1922), выпущенном стараниями редактора и пайщика петроградского издательства «Время» Г. П. Блока, познакомившегося с Садовским по переписке. Здесь публикуется позднейшая редакция (список рукой неустановленного лица, возможно жены Садовского, с карандашной правкой автора). Перевод: «A quel malheur!» — «Что за несчастье!»; «Poète, artiste, ah, ventriloque!» — «Поэт, художник, чревовещатель!»; «Ma chère Annette» — «Моя дорогая Анетта»; «Parole d'honneur» — «Слово чести»; «Merci cousin» — «Спасибо, кузен»; «Cher Paul» — «Милый Поль»; «Ma chère cousine» — «Моя милая кузина»; «Tiens!» — «Увы!»; «Mon fils!» — «Мой сын» (*франц.*).

226. Публикуется впервые по карандашному рукописному списку с исправлениями Садовского, сделанными также карандашом.

227. Ранняя редакция под заглавием «Женитьба Галаха» — в сборнике «Морозные узоры».

228. Печатается впервые по рукописному списку.

229. Ранняя редакция под заглавием «Идеалист» — в сборнике «Морозные узоры».

230. Печатается впервые по автографу Садовского (карандаш).

231. Печатается впервые по машинописи с карандашной правкой Садовского.

232. Печатается впервые по рукописному списку с карандашной правкой Садовского.

233. Печатается по тексту сборника «Морозные узоры». В поэме отразилась история самоубийства поэтессы Н. Г. Львовой. Большинство склонно было винить в этом ее возлюбленного В. Я. Брюсова (см. подробнее: *Лавров А. В.* Вокруг гибели Надежды Львовой // De Visu. 1993. № 2. С. 5—11).

234. Печатается впервые по рукописному списку с правкой Садовского. *Анненский орден* — русский орден Св. Анны, учрежденный шлезвиг-гольштинским герцогом Карлом Фредериком в 1736 г. в честь своей супруги цесаревны Анны Петровны (дочери Петра Великого). Был причислен к русским орденам Петром III, отцом Павла I. Анна — любимица императора, дочь сенатора П. В. Лопухина, воспитывалась мачехою. Слишком близко знавший ее, будучи секретарем российского посольства в Италии, будущий московский почтдиректор А. Я. Булгаков оставил в своем до сих пор опубликованном лишь в незначительной части 17-томном дневнике «Современные записки и воспоминания мои» ценные свидетельства из первых уст о платоническом отношении к ней царственного поклонника.

ЦВЕТНОЙ ЗАНАВЕС
Пьесы

Название раздела дано по анонсированной в «Ледоходе» но не вышедшей книге Садовского.

235. Впервые: Русская мысль. 1911. Кн. 5. С. 137—150.

236. Монолог написан для «Вечера старинного водевиля» в Литературно-художественном кружке в Москве, 28 января 1911 г., оформленного Н. Сапуновым, и прочитан Ю. Ракитиным, режиссером всего представления.
«Una *cosa rara*, ossia bellezza et onesta» («Редкая вещь, или Красота и добродетель») — опера Мартин-и-Соляра.

237. «Ваша пьеса — прелесть!!! Давно ничего подобного не читал», — писал Садовскому А. А. Кондратьев 11 января 1914 г. по получении от него альманаха «Гриф» (М., 1914), где была опубликована «Камеристка» (см: De Visu. 1994. № 1/2. С. 12).
Перевод: «... c'est ça» — «... вот именно»; «ni froid, ni chaud» — «ни холодно, ни жарко»; «Mon Dieu!» — «Мой Бог!»; «Quel mot!» — «Что за выражение!»; «Pardon» — «Извините»(*франц.*).

238. Публикуется впервые по рукописи. Эта трагедия, написанная стихом, имитирующим пушкинского «Бориса Годунова», знаменует собой один из этапов переосмысления отношения Садовского к Николаю II. Прежде оно было безусловно отрицательным. Слабость на троне и недалекость ума в столь грозный для России час расценивались Садовским как преступление; добровольное отречение государя («отрекся, как роту сдал») — недопустимый поступок, худший, чем измена присяге, ибо царь есть помазанник Божий. После мученической смерти царской семьи Садовской изменил свое отношение к последнему русскому императору. Особенно это проявилось в романе «Шестой час» (1921), опубликованом в альманахе эзотерически-нацистской направленности «Волшебная гора» (1997, № 6).

239. В сцене отразилась одна из мистификаций Садовского, зафиксированная в книге Е. Ф. Никитиной «Русская литература от символизма до наших дней» (М., 1926), где (конечно, с его собственных слов), родословная Садовского возводилась к некоему польскому шляхтичу, выехавшему в Россию в свите Марины Мнишек. Позднее в дневнике, не признаваясь в мистификации, Садовской опроверг эти фантастические измышления.

Алфавитный указатель произведений

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы в стихах

Цветной занавес *(Пьесы)*

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 882-1

Борис Садовской

Стихотворения, рассказы в стихах, пьесы и монологи / Сост., подг. текста, вступ. статья, примеч. С. В. Шумихина. СПб.: Академический проект, 2001 — 398 с.

ISBN 5-7331-0137-7

Книга включает в себя семь поэтических сборников Б. А. Садовского, вышедших при его жизни. Печатаются также стихотворения и переводы Садовского более позднего периода (1922—1945), большинство из которых ранее не публиковалось. Впервые тексты Садовского печатаются с учетом позднейшей авторской правки, сохранившейся в его архиве. Таким образом, предлагаемая книга — первое представительное собрание поэтических произведений известного писателя Серебряного века.



Художник *В. В. Еремин*
Художественный редактор *В. Г. Бахтин*
Технический редактор *А. М. Кокушкин*
Корректор *О. Э. Карпеева*

ЛР №066191 от 27.11.98

Подписано в печать 14.04.2001. Формат 70×90/32
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Academy.
Усл. п. л. 12,5. Уч. изд. п. л. 15. Тираж 2000 экз. Заказ №3910

Гуманитарное агентство "Академический проект"
191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 26

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии "Наука" РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12